

10
лет

В ЭТОМ мире,
В ЭТОМ городе...



Коллектив авторов
В этом мире, в этом городе...

«Татарское книжное издательство»

2016

УДК 821.161.1-1/3
ББК 84(2Рос=Рус)-5/4

Коллектив авторов

В этом мире, в этом городе... / Коллектив авторов — «Татарское книжное издательство», 2016

ISBN 978-5-298-03142-4

Этот сборник – как бы выжимка всего лучшего из «Казанского альманаха» за десять лет его жизни в литературно-художественном пространстве республики, да и широко за её пределами. Стихи, рассказы, очерки, иллюстрации, надеемся, не оставят читателя равнодушным.

УДК 821.161.1-1/3
ББК 84(2Рос=Рус)-5/4

ISBN 978-5-298-03142-4

© Коллектив авторов, 2016
© Татарское книжное
издательство, 2016

Содержание

Гавриил Державин	8
Арфа	8
Читайте, припоминайте...	9
Мударрис Аглямков	10
Арба Акмуллы[1]	10
Василий Аксёнов	18
Зеница ока	18
Тимур Алдошин	27
«Ну вот, и я говорю о том же...»	27
Живой	29
«Не сеять, не думать, не плакать, не жать...»	30
Олово	32
«На потеху клоунам и публике...»	33
«Все ли ангелы идут с губами в землянике?...»	34
«На потеху клоунам и публике...»	35
«Все ли ангелы идут с губами в землянике?...»	36
Доля	37
Николай Алешков	38
Август в Лаишеве	38
«К чистому морю (такая история)...»	39
«Вдруг всплывут, как Атлантида...»	40
«Как тебе живётся, городская лошадь?...»	41
«Плохое уходит. Печаль остаётся...»	42
«Памяти Леонида Остапенко...»	43
«Люблю смотреть на тихую реку...»	44
Екатерина Аничкина	45
Скафандр и бабочка	45
«Чёрные звёзды стали вдруг белыми...»	46
«Я тонула в расплавленной бронзе заката...»	47
Александр Архипов-Фёдоров	48
Нагая	48
Вера Арямнова	51
«Кофе варю на медленном, хотя предпочла б покрепче...»	51
День	52
Сантимент	53
«Что с того, что ты ходишь от стены к стене...»	54
Отпуск	55
«Хватит, родная, на закате не спят...»	56
Прощание с Казанью	57
«...В ходе долгого перевоза...»	58
«Осень, здравствуй, мы с тобой подруги...»	59
«Прошла Вальпургиева ночь...»	60
Эротическое	61
Белла Ахмадулина	62
Моя родословная	62
Наиля Ахунова	80

Стрижи и бабочки	80
Клад	81
Снеговичок	82
Наперегонки с одуванчиками	84
Вечерняя молитва	85
Лунные блики	86
Снова метель	87
Люблю сказки	88
Айсберг	89
Аллея Жемчуговой	90
Млечный Путь	91
Гость	92
Мамин портрет	93
Евгений Баратынский	94
Признание	94
Сергей Малышев	96
Неподражаемый Баратынский	96
Николай Беляев	98
«Здравствуй, радость моя усталая...»	98
«На последней прямой...»	99
«В душу запавшие с детской поры...»	100
«Снег выпал, как всегда – прекрасный...»	101
«Ах, молодость! – не сдуру ли? – полез...»	102
«Поэт в столице больше, чем поэт...»	103
«Невидимы, под козырьком крыльца...»	104
«Почти две тысячи моих стихотворений...»	105
«Не старость, нет...»	106
«И – мимо, мимо весны...»	107
«Я – клоун зеленомордый...»	109
Андрей Битов	110
О человек!	110
Отсрочка	111
Ашшар	112
Аззальзаля	113
Лоренс Блинов	114
Ночной тополь	114
Галина Булатова	119
Небушко	119
«Хрупко синица тинькнет...»	121
Горлица	122
Дедушка мой Булатов	123
Папе	124
«Не напоказ – в себе свой храм ношу...»	125
Ивану Данилову[5]	126
«Со скрипом ломались перья...»	127
Дорога в Казань	128
Елена Бурундуковская	129
«Прощальная краса. В окошки бьётся осень...»	129
«Под птичьих крыльев хлопотанье...»	130

«Студентка знает то, что ничего не знает...»	131
«Наблюдая над жизнью, которая, в общем, прошла...»	132
«Ничего не вечно под луной...»	133
«Расскажи-ка мне, девочка в галстучке шёлково-красном...»	134
«Колыбельную песню надышит простуженным горлом...»	135
«Как ласточкина тень, метнётся взрослый воздух...»	136
«В природе проще нет картины...»	137
«Босыми ногами по тёплой песчаной земле...»	138
Борис Вайнер	139
Из жизни ангелов	139
Старый трамвай	141
Половник	142
Ремейк	143
Ворон	144
Разиль Валеев	146
«Плача и скорбя, искал свободы...»	146
«Я жизнь свою ещё не начинал...»	147
Молодость	148
Мой день	149
Чётки	150
Дороги	152
Поднимешься на минарет, станешь ближе к Всевышнему	153
Остановите меня!	157
Как я стал охотником	159
Конокрады	160
Бесценный баян	162
Майя Валеева	164
Ученик	164
Конец ознакомительного фрагмента.	166

В ЭТОМ МИРЕ, В ЭТОМ ГОРОДЕ... **(Составитель Ахат Мушинский)**

Иллюстрации: *М. Akhat*

© Татарское книжное издательство, 2016

© Мушинский А. Х., сост., 2016

* * *

Гавриил Державин

Арфа

Не в летний ль знойный день прохладный ветерок
В легчайшем сне на грудь мою приятно дует?
Не в злаке ли журчит хрустальный ручеёк?
Иль милая в тени древес меня целует?
Нет! арфу слышу я: ея волшебный звук,
На розах дремлющий, согласьем тихоструйным,
Как эхо, мне вдали щекочет нежно слух,
Иль шумом будит вдруг вблизи меня перунным.
Так ты, подруга муз! лиешь мне твой восторг,
Под быстрою рукой играющей хариты,
Когда ея чело венчает вкуса бог
И улыбаются любвию ланиты.
Как весело внимать, когда с тобой она
Поёт про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветёт весна,
Как время катится в Казани золотое!
О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарёй,
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны,
По Волге между сёл на парусах лететь,
И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

Читайте, припоминайте...

Вступительное слово

Казалось бы, только вчера писал вступительную статью к первому номеру «Казанского альманаха», а уж десять лет прошло, и вот сижу над предисловием к сборнику избранных публикаций.

Что в этом десятилетнем марафоне было главным?

Конечно же, поэзия и проза – стихотворения, поэмы, рубаи, хайку, венки сонетов, рассказы, повести, отрывки из романов... Естественно – очерки о писателях, художниках, композиторах, статьи на различные темы, в том числе – критические и даже сатирические, немало краеведческих материалов, размышлений о главном инструменте писателя – языке.

Кстати, наш альманах явился хорошей трибуной для литераторов, представляющих оба государственных языка Татарстана, – русского и татарского. Переводу на русский язык татарских писателей в альманахе уделялось повышенное внимание. Впрочем, печатались переводы и с английского, немецкого, марийского, чувашского и других языков. Один номер издания полностью был посвящён проблемам художественного перевода. Разговор на эту тему продолжился на «круглом столе» в Государственном Совете Татарстана, а затем чудесным образом – и на Всемирном конгрессе писателей в Квебеке (2015), девиз которого был «Перевод – творчество – свобода». Как по этому поводу не вспомнить и международные конкурсы поэтического перевода, проведённые «Казанским альманахом» совместно с Татарским ПЕН-центром. Они получились популярными, в них участвовали переводчики, как Татарстана, России, так и ближнего и дальнего зарубежья.

Что ещё важно отметить?

А важнее важного то, что «Казанский альманах» открыл дорогу в большую литературу немалому числу молодых литераторов, впервые опубликовал их произведения, помог издать свои книги, стать лауреатами различных премий и даже вступить в члены Союза писателей Татарстана. Рубрика «Новое имя» на страницах «КА», надеюсь, будет вспоминаться ими, как добрая колыбель, как светлое начало счастливого творческого пути.

Немаловажно и то, что альманах дал вторую жизнь некоторым незаслуженно забытым поэтам и прозаикам, впервые опубликовал их неизвестные произведения, дневники, письма, напомнил извечную истину, что рукописи не горят. Ценны и воспоминания о них современников, друзей, носителей памяти времён, которые нынешним поколениям писателей, любителей литературы неизвестны.

К сожалению, нет с нами на этом литературном празднике зачинателей издания – Туфана Миннуллина, Василия Аксёнова, Александра Ткаченко, Рустема Кутуя, Сергея Малышева...

По большому счёту наш альманах обязан своим рождением двум народным писателям Татарстана – Туфану Миннуллину и Разилу Валееву. Рождением и этим вот десятилетием жизни. Редакция, весь авторский коллектив, от чьего имени я выступаю, – все мы надеемся, что жизнь альманаха продолжится.

А пока перед вами избранное... Назвали мы его по первой строке известной в прошлом песни «В этом мире, в этом городе...»

Читайте, припоминайте, открывайте для себя новое.

*Ахат Мушинский,
гл. редактор «Казанского альманаха»*

Мударрис Аглямов

Арба Акмуллы¹

поэма

Пролог

Желая людям счастья, много лет
являлся он, учёный и поэт,
езде, где нужно, с нужными речами:
умел и слушать, судя по всему,
свет сердца разгонял молчанья тьму
и освещал участия лучами.
По кругу
к очагу от очага
степь обходил в дожди или снега,
в грехе увязшим помогая делом,
но, не прощая жадности и лжи,
зажравшихся разгул и кутежи
разил народным словом
звонко-смелым.
В години бед звала его судьба
степным народам
облегчать напасти...
...была у Акмуллы своя арба,
чей кузов разделил он на три части.
Куда в степи дорога ни ведёт,
вокруг лежат четыре дали света,
повсюду с нетерпеньем ждал народ
певучую арбу – арбу поэта.
На помощь
ждал умелых рук его,
на помощь
ждал стихов или совета,
но пуще ждал поэта самого,
поскольку знал в то время цену света.
Завидев, ставил на таган котёл,
и закипала весело водица...
Народ доныне ждёт, чтоб он пришёл, —
нам остаётся разве изумиться.
Когда рубил избу его топор,
сосновые венцы слипались, словно

¹ Поэт, просветитель. В 2007 году – 175 лет со дня рождения

сработаны поэтом, до сих пор
не шелохнулись крепких срубов брёвна,
но складывал стихи ещё прочней,
соперничал с чеченами степными,
не гостем он входил в сердца людей,
народ считал его слова своими...
А мы, газеты местные в столбец
исписывая хмурыми грехами,
тысячелетья третьего конец
венчая бездыханными стихами,
давно дверные пробуриив глазки,
в душе замучив честное призванье,
как из колодца, черпаем с тоски
из книг – о жизни скудные познания.
Чтоб щедро зацепить ведром воды,
к чему на дно колодца опускаться?
К тому же
для чего твои труды,
когда не видно жаждущих, признаться...
Стучится кто-то в двери... Чур меня,
поклонник сельский, стихолюб с пелёнок!
Поди впусти его, потом полдня
терзайся от рассказов-побасёнок.
Стучится кто-то в двери... Невдомёк
ему, что я в запарке – книга в плане.
Спасительно гляжу в дверной глазок:
что это там колышется в тумане?
Стучится кто-то в двери... Невпопад!
Ведь завтра день рождения Тукая.
Мне предстоит слудить о нём доклад,
в народность острой мыслью проникая.
Стучится кто-то в двери... Сохраню
молчание привычно и умело.
Хоть сорок дел засохни на корню —
поклоннику до них какое дело?!
Они и сами сочинять не прочь,
ободри лишь —
начнётся писанина!
А мне – полстрочки написать невмочь,
текучка засосала, как трясина.
Им невтерпёж,
открой им хоть разок,
а может, у поэта воскресенье?!
Глядишь на них, глядишь... в дверной глазок,
в одном лишь этом обрета спасенье.
Кто помоложе,
прёт, не пряча глаз,
в литературу и твою квартиру...
Где места взять? Ведь план в два года раз

тонюсенький твой сборник дарит миру.
Причём на людных сборищах вразнос
кричим, дойдя до белого каленья,
что волочить литературный воз
есть среднего задача поколенья!
Эй, книжники, привычные к перу,
Тукая театральные подобья,
неужто Акмулла учил добру,
используя учебные пособия?!
Народ поэта чествовал, о да,
но в чём же уважения истоки?
Советской власти не было тогда —
попробуй, проживи, формуя строки!
Да, жизнь была жестока и груба,
но странствовал поэт
ни с кем не в ногу,
есть и у нас, товарищи, арба,
есть воз литературный, слава богу!
Посредством книжек и телепрограмм
народ мы познаём и мудро судим.
В дверной глазок
не видно разве вам:
– Поэта дома нет,
подался к людям!
Сподручно нынче строить мудреца
и, прячась дома,
числиться в народе,
по телевыражению лица
писать стихи и пьесы нынче в моде...
...но жить-то надо... По делам и честь.
Со всеми ровня ты в литературе.
Хватил я лишку, но ведь что-то есть
в набросанной на нас карикатуре.
Да, надо жить...
Вздымая на горбу
поклажу долга, памяти и дела,
в стихах восславим Акмуллы арбу,
три секции в ней было,
три отдела...

1

Здесь был топор, отточенный весьма.
Фигурное окно. Резная птица.
Когда бы люди ладили дома,
как думается, грезится и мнится,
до неба стены вывели б они,

чтобы работой любовался век ты.
(Покуда только подновляй, чини,
до будущих времён оставь прожекты.)
Мечты-то высоки, а век зачах:
гниют устои, рухнуть изготоваься.
Но если голова есть на плечах,
сообразишь топор заткнуть за пояс.
Впустую бег времён не торопи,
но не терпи
безвольно-виновато.
Себя народы сознают в степи,
во веки живо дело Салавата.
Обыкновенный плотницкий топор...
Но прошлое оставило зацепку:
запомнил навсегда степной простор —
не чурбаны, людей крошили в щепку...



* * *

Начало века. На земле темно.
Но в жажде света дни неутолимы.
Необходимо для души окно,
как окна для избы необходимы.
Но окна невозможны без избы:
Мифтахетдин, во всё своё уменье,
выверивает врытые столбы, заводит

сруба золотые звенья.
Он был чернорабочим на веку
не за дешёвой славою в погоне, —
в одно сливались,
как слова в строку,
мозоли на писательской ладони.
Он возводил дома своим трудом,
он рано понял,
странствуя по миру:
на отчей почве нужен отчий дом
татарину, казаху и башкиру.
В своей отчизне
каждый должен жить,
чтоб стать и людям, и народам ровней,
чтоб, если бой, то голову сложить
за эту землю,
что зовёт он кровной.

* * *

Двадцатый век – как отдалённый гром...
Строка в душе, пила в руке – совместны.
В арбе он возит рядом с топором
рубанок, скобель, долото, стамески.
...На ставне вырезает ли узор
для заново отстроенного дома
или стихи вставляет в разговор,
звучащие так мудро и знакомо, —
всё это в лад выходит у него:
едины совесть, труд и мастерство.
...Народ помянет плотника добром,
чтоб окна были светлыми в деревнях,
он топором владеет, как пером,
не различая два искусства древних.

2

Жизнь – странствие. Бездонно голубы
над степью небеса – до всех окраин
дошла известность старенькой арбы,
но славен сквозь года её хозяин.
...Второе отделение – для книг,
хранящих честь родной татарской речи...
Мифтахетдин далёко в степь проник,
уже и до Сибири недалече.

Не сдюжит сердце белого муллы²:
неужто по вельможным указаньям —
пробившим твердь тысячелетней мглы,
конец придёт преданьям и сказаньям?
Неужто же
хранимые века
развеяны ветрами легче пуха,
исчезнут из родного языка
понятья чести, совести и духа?!

* * *

Мифтахетдин урок даёт в степи.
Давно уж псевдонимом стало званье,
Наслышаны о нём через стихи
в самой Казани, даже в Заказанье.
Но неприязнь он чувствует нутром,
его отнюдь не причисляют к лучшим
те, кто одним тяжёлым топором
наводят мост к людским заблудшим
душам.
Он учит... По складам ученики
уже урок заучивают дружно:
пусть гололобы, эти степняки
свою Казань восславят, если нужно.
Всё будет – государство, горы книг,
коль жив родной язык, язык надежды;
дух не исчезнет, если впрямь велик,
когда обрядят в новые одежды.

* * *

Вот потому и ездит на арбе
книг, преданных анафеме, собранье.
Сквозь все преграды верен будь себе.
сквозь горечь слёз
неси своё призванье!
Чтоб в человека превратить раба,
под вездесущим недреманным глазом,
везёт по свету Акмуллы арба
надежду,
утешенье,

² *Белый мулла* – дословный перевод имени Акмулла

ум и разум.
Он ровня всем,
ко всем идёт с добром,
три нации степных к нему с почтеньем...
Кровь разгоняет звонким топором,
дух утешает, воскрешает чтеньем.
Мир потрясать – врываюся гурьбой:
всласть покричали – и уже их нету...
Всю жизнь с чужою странствовать арбой?
Эх, до чего своя нужна поэту...

3

И собственное место на арбе,
своё – во всех скитаньях и тревогах
своё – под солнцем – он отвёл себе.
Необходимо мастеру в дорогах:
раз – не бояться чёрного труда,
два – у горячих слов обогреться,
особенно когда тебя года,
как таракана, выморозить тщатся.
Первопроходец, странный человек,
упрям и неуступчив по натуре,
он место знал своё.
Двадцатый век
его манил в объятья к новой буре.
Мулла нарёк его – Мифтахетдин.
Чего он сам достиг в духовном званье?
Не ради же
сверкающих седин
степной народ нашёл ему прозвание?!
Он сын татарки-матери.
Но в мир
пришёл со всеми поделиться светом.
Не зря казах, татарин и башкир
его доньне чтут своим поэтом!
...в поклоне низком перед ним склонясь,
подумать, вновь подумать, подивясь,
и гордость ощутить, не возгордясь...

* * *

Ему хватало места самому,
но дань платил он часто злой невзгоде:
дубасила судьба, вела в тюрьму,

но песни оставались на свободе.
Поэты схожи судьбами порой
в том, как упорно им ломают крылья...
В скитаньях Акмуллы есть лад и строй
героики грядущего Джалиля.
Вот говорят, с женитьбой не везло,
но белизна и боль так часто вместе!
Известно, как по жизни тяжело
идти дорогой совести и чести.
Он и в Казань по этому пути
пришёл, в литературный спор вникая,
но места своего не смог найти:
когда б изведал он судьбу Тукая!
Поэта бы, как боль, забыть давно,
но под повязкой лести и обмана,
как ни анестезируй, всё равно
народная щемит и ноет рана!

* * *

...Прошло столетье в славе и борьбе,
скрипит арба земной дорогой грешной...
Желал бы всем собратьям и себе
такой судьбы,
такой арбы неспешной!
Мы думаем, стремителен наш бег,
но, в наставленье всем порывам нашим,
арба въезжает в двадцать первый век.
Мы смотрим вслед ей
и платочком машем...

*Перевод с татарского
Рауиля Бухараева*

Василий Аксёнов

Зеница ока

Бабушка Евдокия, она же Авдотья, она же Баба Дуня, как её звали в коммунальной квартире, родилась в глубинной Рязанщине в 1860 году, в крестьянской семье, то есть до годовалого возраста в записях числилась как крепостная помещиков Лесковых. В вольнокрестьянском сословии возросла, вышла замуж за беспокойного Збайковичева Василия, что слыл «пьющим, драчливым и до чужбинки охочим», и прижила с ним двенадцать чад, из коих зрелых лет достигли четверо.

К 1942 году из этих четверых только одна Аксинья оказалась опорой бабы-Дуниной старости в чуждом её крестьянской душе мире, в переполненных эвакуацией Булгарах, большом трамвайном городе на Волге. Дочь Мария с семейством неизвестно как страдали в Донбассе, под игом неприятеля. Младший сын Адриаша в профессорских чинах учительствовал в самой сердцевине Азии и там хотя бы не унижался голодом. Старший же Павлуша, грянув в прах с большевицкой верхотуры, уж пять лет как полностью не присутствовал, прими его под свой покров, Пресвятая Богородица.

В тот ужасный, тёмный, голодный и дьявольски морозный год, когда все уличные фонари были погашены, а окна плотно занавешены в ожидании авианалётов, старушка упала в свежеотрытую траншею и сломала себе шейку бедра. Дальнейшее – двухсторонняя пневмония и сердечная недостаточность. Два дня она умирала на главной кровати, где в обычное время спала труженица Аксинья со своими собственными двумя малыми внучатами. Всё разношёрстное семейство, включая и Павлушиных детей, шестнадцатилетнюю дочь и девятилетнего сына, сидело вокруг. Смерть Бабы Дуни открыла для них пучину горя и какую-то дотоле неведомую округу любви.

Прошёл ещё год войны. Вдруг показалось, что выжили. Вечно сосущее чувство голода стало отступать по мере проникновения в мизерные пайки кое-каких лендлизовских продуктов, в частности яичного порошка и сала лярд. Павлушиному сыну шёл уже одиннадцатый год. Он увлекался Джеком Лондоном, а также выпусками боевика «Тайна профессора Бураго». О судьбе своих родителей, отца Павла и матери Евгении, он ничего не знал. Взрослые говорили ему, что те уехали в долгосрочную командировку на Дальний Север, то есть примкнули к общеизвестным «героям-полярникам». Он догадывался, что от него что-то утаивают, и потому старался не задавать взрослым вопросов о своих родителях. Детство шло в активных играх со сверстниками. Дома соединялись проходными дворами, и пацаны носились по таинственным углам грязного мира, а также по чердакам и крышам, то группируясь во враждующие клики, то распадаясь на одиночек, когда приходила пора погружаться в книги или обмениваться треугольными марками государства Тува. Такая, в общем, шла обычная пацанская жизнь, и только иногда возникало что-то необъяснимое, то щемящее, жалкое, как у заброшенного щенка, то бессмысленно-дерзновенное, как у несущегося в неизвестном направлении бродячего пса. Такое случалось, например, при встречах с соседом по квартире, майором Околовичем. Будучи в полной форме, то есть в кителе и в фуражке с голубым верхом, этот одинокий квартирант проходил через пещерный коридор, ни с кем не здороваясь и вроде даже никого не замечая. Однако при выносе помойного ведра он выглядел не столь формально: галифе приспущены на подтяжках, бритый черепок умеренно пятнист, в свободной руке зажжённая папироса, вторая, про запас, заложена за ухо. Заметив во дворе Павлушиного сына, он нередко провожал его немигающим взглядом.

Однажды, в один из своих читальных периодов, Павлушин сын остался один в семейной комнате. Он сидел на сундуке, прислонившись к ещё тёплой печке, наслаждался неожиданным одиночеством и читал книгу «Водители фрегатов», одолженную у одноклассника Нарцисса Антонова. Вдруг сильная мысль овладела мальчиком. Этот сундук, на котором сейчас сижу, должно быть, мало отличается от корабельного сундука капитана Кука или капитана Дюмон-Дюрвиля. Тётка не зря запрещает туда залезать, не исключено, что там кроется тайна. Там может быть тайна, связанная с родителями-полярниками. Пожалуй, лучше не открывать этого вместилища: тётка может быть огорчена, если откроется такое, чего ему не полагается знать. Соблазн, однако, был велик. Мальчик знал, где тётка прячет ключ от сундука – под клеёнкой в бывшей выгородке Бабы Дуни, где сейчас устроена крохотная кухня. Через несколько секунд он уже снимал замок.

Запах нафталина был так силён, что он даже отпрянул и не в первый момент увидел то, что лежало прямо под крышкой: большую чернобурю лису с серебром и с мордочкой, выделанной столь тщательно, что она казалась дополнительным украшением, а не частью тела истреблённого зверя. Павлушин сын несколько минут не мог оторвать взгляда от лисы, а тем более взять её в руки. Среди всеобщего убожества увидеть столь красивую и дорогую вещь было бы всё равно, что найти вместо своих перекошенных и вечно «просящих каши» башмаков великолепные ботфорты виконта де Бражелона. И всё-таки это была не совсем знакомая ему чернобурка. Вдруг выскочило дикое слово «конфискация», выплыла из памяти дверь, запечатанная сургучом. Он поднял лису на вытянутых руках. Захотелось зарыться в неё носом. Сквозь нафталин он уловил дуновение другого запаха, если только миг сладостного счастья может пахнуть. Руки затряслись, лиса упала в сундук. Чтобы усмирить дрожь, он стал перебирать другое содержимое: старое пальто, плюшевую скатерть, статуэтку альпийского пастушка с козочкой; потом вытащил на свет божий потемневший от времени деревянный ларец с резной крышкой.

Этот ларец он видел однажды на коленях у Бабы Дуни. Она сидела в своём закутке и тихонько в нём копошилась. При виде мальчика закрыла крышку и поставила ларец на пол. Он тогда подумал, что старуха прячет в сокровенном хранилище свои крестики и иконки. Открыв ларец сейчас, он увидел лежавшие поверх всего толстые вязаные носки и варежки. Из одной варежки он вытащил страницу школьной тетрадки, на которой синим карандашом было накарябано «для васынке». И носки, и варежки были ему явно велики; значит, она связала их ему на вырост, чтобы не замерзал в будущем.

Следующее открытие осветило и первое, то есть чернобурку. Перед ним лежала большая матовая фотография в паспорту из серого картона. До войны такие выставлялись в витрине главной городской фотомастерской, которую старые люди до сих пор называли «электровелографией Самсонова». На ней изображена была цветущая пара благополучных людей: чуть повыше Он, в зимнем кепи из каракуля и в пальто с таким же воротником, и Она, чуть пониже, в шляпке и с чернобуркой на плечах, той самой чернобуркой, что сейчас лежала рядом. И тут мальчик с пронзительной ясностью понял, что видит своих родителей, светлоглазого отца и темноглазую маму. Вот так же он видел их, когда они возвращались из Москвы и, не сняв верхней одежды, проходили в детскую. Он просыпался от звонка в дверях, от шума их шагов и весёлых голосов. Потом вся детская заполнялась запахами духов, табака, отцовского автомобиля. Мама брала его на руки, и он неизменно зарывал свой нос в её лису, стараясь всё-таки не попасть в зубастую лисиную мордочку, между тем как отец сваливал в его кроватку пакеты и коробки с шёлковыми лентами – московские подарки. Прибегали старшие дети, дочь отца и сын матери, начинались прыжки и дикие танцы, всё переносилось в большую комнату, где не было кроватей и где часто крутили патефон. Там были обе домработницы, няня Фима и тётя Агаша, шофёр, товарищ Мельников, соседка Фариды, а также весьма почтенная

старушка в бархатном жакете, родительница председателя горсовета, которую тогда звали не Бабой Дуней, а Евдокией Власьевной. Мальчик сжимал в руках фотографию и, потрясённый, поднимал локти, словно пытался заслониться от вспышек памяти, от возникавших с удивительной ясностью имён и лиц из той его крохотной, тогда ещё не засургученной, не конфискованной, а потом вроде бы стёртой до основания жизни.

Вслед за фотографией явилась небольшая старинная дощечка с изображением юной девы в короне, державшей на руках младенца тоже в короне; он догадался, что это была бабкина икона, которой она шептала по ночам в переполненной спящими телами комнате: «Царица Небесная, Пресвятая Богородица, прости нас и ПОМИЛУЙ, спаси и защити!» Затем он вытащил пачку бумаг, вложенную в свёрнутую и уже основательно пожелтевшую газету. Это был праздничный выпуск «Красного Поволжья» за июль 1937 года; день Военно-морского флота СССР. Первую полосу украшал большой снимок флагмана, линкора «Марат» с его 16-дюймовыми орудиями; обычно он наслаждался изображениями кораблей, теперь сей водяной чертог его перепугал. Он перевернул газету и на четвёртой полосе, среди второстепенных сообщений, в небольшой заметке вдруг увидел собственную фамилию. Лишь несколько секунд спустя он сообразил, что речь идёт не о нём, а о его отце. «В Доме культуры им. Менжинского завершился судебный процесс по делу группы предателей родины, окопавшейся в горсовете... Главварь преступной банды... Збайковичев... приговорён к смертной казни... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит...» Ну, вот и всё, они предатели, их больше нет, теперь осталось лишь влезть в сундук и закрыться крышкой. Тут он увидел, что у него на ладони лежит маленький деревянный кубик. Он хотел было отшвырнуть этот кубик – что ещё может сообщить какой-то кубик после того, что он узнал, что разрушило детские сказки о «героях-полярниках»? Однако любопытство возоблаголо над отчаянием. В голове почему-то закрутилось слово «карат». Он не очень-то отчётливо представлял себе, что такое «карат», хотя и знал, что это относится к драгоценностям. Может быть, бабка в этом кубике какой-нибудь карат спасла от конфискации, от засургучивания?

Открыв крышечку кубика, он увидел внутри не «карат», а глаз. Довольно крупное, в прекрасной сохранности, белое яичко глаза с ярким голубым зрачком смотрело на него со слегка пожелтевшей ватной подушечки. Перехватило дыхание. В животе, как в капкане, задёргалось существо желудка со всеми кишками. Подкосились ноги, и он упал сначала на колени, а потом ничком. Подбородок с диким стуком ударился об пол. Голова померкла. Во мраке, словно медуза в глубинах моря, дрожал и светился голубой глаз. Он приближался, увеличивался вплоть до того, что стали видны тончайшие красные ниточки. Закрыл весь обзор, а потом начал быстро удаляться, падать в тёмную пустоту, превращаться в еле видимую голубую звёздочку. Погас.

С тех пор прошло ещё тринадцать лет. В 1956 году, за два месяца до Венгерского народного восстания мне исполнилось двадцать четыре года. Я редко вспоминал детство, а когда вспоминал, мне не верилось, что тот «казанский сирота» и я, стильный питерский парень, – это одно и то же существо. Скорее уж чувство некоего родства связывало меня с тем «Павлушиным сыном», родства и неизбежного наследничества, но отнюдь не полная идентичность. Так странно это происходит по ходу жизни, когда реальные страхи переходят в зону снов.

Нужно ли говорить о том, что я был по уши в своих молодых делах, столь далёких от лет военной юдоли, да и вообще от родного города. Питер, в лице своей учащейся молодёжи, живо откликнувшийся на послесталинское пробуждение, бурлил дискуссиями, стычками с «обскурантами» на выставках современной живописи, выходящими из подполья стильными танцами, чтениями в литобъединениях, и я со своими стихами, исполнявшимися под гитару в ритме блюза, был в центре этого бурления. Погода преобладала оттепельная, влажная, кучевые облака шли в устье Невы скорее из Англии, чем из Коми. На Невском проспекте то и дело происходили удивительные, как бы случайные встречи, хотя в нашей компании Невский нередко

называли Авеню Встреч. Там как раз я и познакомился с венгерской девушкой Гизеллой, то есть по-нашему Жизелью. Она только что окончила Будапештский университет и приехала в Союз как корреспондентка спортивной газеты. Мы разговаривали с ней на варварской смеси языков, а понимали друг друга в основном при помощи взглядов и прикосновений. После её отъезда домой я стал замышлять побег в Европу. Можно было – разумеется, с риском угодить в тюрьму – пробраться на польский торговый корабль, достичь Гданьска, а потом с помощью польских ребят, недавно окончивших наш факультет, отправиться в Будапешт. Если бы план удался, я бы скорее всего угадал к самому началу восстания, то есть всё равно угодил бы в тюрьму, ту или другую, или был бы подстрелен то ли шальной, то ли нацеленной пулей. Пока что я никаких боёв не предполагал, а только лишь грезил великолепной антисталинской революцией духа, в которую мы с Жизелью вольёмся, как некие киногерои поколения.

Однажды, ближе уже к осени, пришла телеграмма от тётки Ксении: «Срочно приезжай. Ожидаются важные события». Признаться, мне вовсе не светило остаток лета провести на периферии в ожидании важных событий. Уже не раз тётка меня вызывала подобными телеграммами, я не приезжал, маялся муками совести, события же не происходили, и муки совести рассеивались. Речь шла всякий раз о возможности приезда отца. Тётка не верила, что его нет в живых. За все эти бесконечные годы от него не было ни единой весточки, однако временами доходили какие-то странные слухи, что его видели в лагерях то ли вблизи Сыктывкара, то ли на Таймыре, то ли в Казахстане. Полгода назад тётка решила сделать запрос в краевой прокуратуре, ответа, однако, до сих пор не было.

Мама моя уцелела в лагерях благодаря своей медицинской профессии. Она никогда не исчезала, постоянно присылала мне с Колымы короткие письма, а когда я поступил в Горный институт, оттуда стали приходить ежемесячные денежные переводы. Однажды, ещё при жизни Сталина, я умудрился на летнюю практику оказаться на Севере Якутии, всего лишь в трёхстах километрах от посёлка, где в ссылке жила мама. Тогда мы и встретились после пятнадцатилетней разлуки. У неё была другая семья. Вдвоём с мужем, тоже бывшим заключённым, горным инженером, они воспитывали его маленькую дочь, отправленную после смерти её заключённой матери в лагерный детприёмник. О моём отце мама ничего не знала, хотя и до неё иногда доходили слухи, что он жив. Кто-то в лагерях опровергал сообщение о «высшей мере», кто-то говорил, что «вышка» была заменена пятнадцатью годами, а третий тут же добавлял, что «без права переписки». Увы, мой мальчик, говорила мама, поглаживая меня по волосам, словно маленького, ты же знаешь, что «без права переписки» – это эвфемизм для убийства. Я не знал: так же, как и слово «эвфемизм», – это было для меня открытием.

В этот раз я решил увидеться с тёткой, и вот я у неё. За те несколько лет, что я её не видел, она вроде бы не постарела, только чёлочка засеребрилась. Увидев меня, расцвела васильковой, «збайковичевской» улыбкой. Конечно, подтащила к дверному косяку, чтобы показать зарубки роста. Ну и вымахал ты, Васок! Я давно заметил, что ей всё время хочется прикоснуться ко мне, потрепать, скажем, вихор, но по каким-то, видимо, важным для неё причинам она сдерживалась. Сейчас я наклонился и боднул её в плечо. Боже, она чуть не расплакалась, эта моя вторая мама! Впрочем, тут же поджала свои узенькие губки и перешла к делу, то есть к причине столь экстренного телеграфного вызова. Времена меняются, Васок, многие возвращаются из мест заключения. Некоторых, говорят, даже ре-алиби-тирируют. А мы ничего не знаем о Павлуше. На моё письмо они не отвечают. Я думаю, что теперь, как ты уже окончивши институт, ты должен сам туда зайти. Вот именно прямо туда, где он и канул, на «Бурый овраг». Она сжала губы. Во всём облике её проявилось упорство. Именно с этим выражением бесконечного упорства в сорок втором году она каждое утро отправлялась на базар Скворцы и стояла там часами в любую погоду с вещами эвакуированных ленинградцев. С каждой продажи она получала десять процентов денег и покупала для нас то кирпич хлеба, то сумочку картошки,

то вязку лука. А мы, дети, сидели на подоконнике и ждали, когда она появится. Уже по тому, как она передвигала свои опухшие ноги, мы понимали, будем ли ужинать.

«Бурый оврагом» в нашем городе называли штаб-квартиру местного НКВД, поскольку размещалась она на краю городского оврага. Длинное, в целый квартал, трёхэтажное здание с кокетливыми канителями по фасаду, по слухам, имело ещё шесть этажей подвалов с камерами для подследственных. На дне этого оврага был городской каток, где в военные зимы бесчинствовала шпана с железными палками, а после войны под сладкий голосок Зои Рождественской кружили румяные барышни. Вспомнив эту топографию, я представил, откуда можно было бы повести отряд молодёжи на штурм гадского гнезда.

– Ну, конечно, тётка. Обязательно схожу в это... учреждение. Прямо завтра туда и отправлюсь, запишусь на приём к какому-нибудь... тузу. Заодно и посмотрю... как там всё расположено.

Тут она снова воссияла збайковичевской голубизною.

– Вот и умник! Вот какой ты умник, Васок! Я бы и сама туда пошла, но кто ж будет со мной разговаривать, – говорила тётка. – Отфутболят куда-нибудь в нижние инстанции, в лучшем случае. А вот от тебя-то им не получится отмахнуться. Тем более что ты стал такой известной персоной.

– Это ещё что, тётка? О чём ты говоришь? Какой ещё такой известной персоной? Кто меня знает, кроме нескольких сотен бродяг в Ленинграде? Ну, может быть, пары тысяч.

– Тебя весь комсомол знает, – с важностью возразила она и вынула из фартука свёрнутую газету.

Это была «Юность Поволжья», на третьей её странице действительно фигурировала моя фотография «шесть на восемь», с гитарой на сцене институтского клуба. Текст гласил: «С большим успехом проходят в Ленинграде спектакли комсомольского коллектива Горного института «Капустник Горного». На снимке студент-выпускник В. Збайковичев исполняет песни собственного сочинения».

– Мне соседи эту газету принесли, – сказала тётка, – а ведь небось и в «Буром овраге» есть читатели.

Я взглянул ещё раз на довольно мутное фото подозрительной личности с ивмонтановской «стрижкой каторжника» и представил себе, с каким восторгом сотрудники овражного учреждения встретят новоиспечённую знаменитость.

Вечером всё семейство собралось вокруг стола с целой грудой пышущих жаром пирожков. В процессе их поглощения полагалось громко восхвалять предмет поглощения и их автора. Жить стало всё-таки лучше даже в волжских провинциях. Ещё недавно муку «выкидывали» только к праздникам, и за ней выстраивались вековые российские очереди с номерами чернильным карандашом между большим и указательным пальцами. С жильём, однако, прогресса не было. Все они, тётка и дочь её, которую я тоже звал тётёй, тётёй Тилей, и дети дочери, что, будучи моими племянниками, по возрасту больше подходили мне в кузены, и их отец дядя Гена, и его сестра тётя Ната, которая из-за развода лишилась местожительства, – все они жили в той же одной комнате, в которой прошло и моё детство.

Были, впрочем, и некоторые новшества: например, маленький холодильник «Север», телевизор с линзой и – о, чудо! – настоящий телефон, появившийся тут благодаря тому, что дядя Гена выдвинулся в замавы своего строительного треста.

Ближе к полуночи, когда литровый графин настойки был уже пуст, стали раскладываться на ночлег. Мне принесли подругу юности, раскладушку Шахерезаду. На ней я провёл не менее тысячи ночей до того, как отправился в город на Неве. Будучи в раскладе, она на половину своей длины уходила под обеденный стол. Тётка без конца мне говорила, чтобы я укладывался головой наружу, но я предпочитал обратную позицию: всё-таки своего рода личная спальня.

Привычка спать под столом так укоренилась, что я, попадая в какую-нибудь незнакомую квартиру, машинально оценивал обеденный стол на предмет ночёвки.

В ту ночь под столом мне пришла безумная для комсомольца идея. А почему бы не позвонить сейчас в Будапешт, не проверить нашу «оттепель» на вшивость? Я стащил дяди-Генин номенклатурный аппарат с тумбочки на пол и, подделываясь под какой-то иностранный акцент, заказал столицу братского государства. После этого накрыл аппарат подушкой и стал ждать. Не прошло и десяти минут, как послышалась нежная трель. В контраст с ней прозвучал грубый голос нашей болгарской телефонистки: «Будапешт заказывали? Говорите!» Боги, боги мадьярские, мордвинские и чувашские! На проводе была моя несравненная, чуть-чуть хриповатая Жизель! Ах, Васко, говорила она, у нас тут всё бурлит. По всему городу митинги, стачки, демонстрации. Как мне тебя тут не хватает, Васко мой! Жизель моя, отвечал я. Же тю эм! Их либе дих. Ай лав ю! Люблю! Обе «ю» долго ещё гудели над пространствами Европы после того, как разговор прервался. С ними я и уснул.

Рассвет уже сквозил через тюлевые шторы, но все ещё спали, когда я мощным дельфиньим движением выбросился из провисшей Шахерезады. Стукнулся макушкой о нижние доски стола. Что пробудило меня от сладких снов в такую рань? Кто-то стучал в дверь или кто-то настучал в «Бурый овраг»? Стук повторился уже наяву. Тётка, кряхтя, сползла с кровати, прошлёпала по паркету.

– Кто там в такую рань?

Мужской голос прозвучал из коридора:

Збайковичевы, Котелковские тут проживают?

Отлетела задвижка, скрипнула дверь, жуткий вопль тётки потряс дряхлое жильё. Как был, в трусах и в майке баскетбольной команды «Горняк», я побежал к дверям и увидел, что тётка трясётся в объятиях какого-то человека, что ноги её не держат и она вот-вот сыграет на пол.

– Сестра, сестра, ну-ка, возьми себя в руки, – бормотал человек. Он ещё не переступил порога, и в полутьме коридора блестели его очки. Вдруг он и сам завопил: – Родная моя! – и сам весь затрясся.

Утробный вой тётки перешёл, слава богу, в словесные рыдания:

– Павлушка, Павлушка, ужельча это ты?!

Ещё в детстве я заметил, что в моменты волнений она переходила от городского говора к родной деревенщине.

– Васок! – закричала она, не видя, что я стою прямо за её спиной. – Отца твой приехал!

Приезжий переступил порог. На голове у него была бесформенная меховушка. Одет он был в стёганный азиатский халат, подпоясанный солдатским ремнём. Обут в галоши. Вместе с ним вступил в комнату кубометр ошеломляющего запаха. Полуседая щетина покрывала нижнюю часть его мокрого от слёз лица. За стеклом очков невыносимой голубизной сиял его правый глаз, а левый был сморщен, как будто от ослепляющего света. Тётка теперь свисала с его левого плеча, она всё ещё была в полуневменяемой дрожи. Теперь настала и моя очередь трястись. Вдруг я осознал невероятность этого дня, этого возвращения из ада. Я не мог произнести слово «Отец» и не мог утихомирить своих конечностей.

– А это кто ж такой передо мной стоит, толико высоченный? – спросил приезжий.

– Дык сын твой родной, Васок перед тобою! – всё пуще и пуще рыдала тётка.

– Ужельча правда?! – разрыдался и он.

Тут мы трое, главные участники события, заметили, что все члены семьи уже стоят вокруг нас в своих ночных одеяниях: и тётя Тиля, и дядя Гена, и юная Полька, и подростковый Колик, и тётя Ната, и кот Махно, хвост трубой. В большей или меньшей степени тряслись все присутствующие.

Приезжий отец, очевидно, не всех ещё ясно фокусировал. Он тянул свои руки ко мне.

– Каков разбойник, – бормотал он. – Вот разбойник каковский!

Наконец мы обнялись. Он весь пропах потом, уриной, рыбьим жиром, угольной пылью и множеством других нечистых, нечитаемых запахов.

– Что ж вы, дядя Павлуша, телеграмму не прислали? – вдруг светским тоном спросила тётя Тиля. – Мы бы вас встретили на вокзале.

– Телеграмму?! – вздрогнул отец. Он посмотрел на потолок, как будто телеграмма свисала с люстры. Впоследствии выяснилось, что это слово полностью выпало из его лексикона уже много лет назад. Оказалось, что он много дней уже добирался из глубин Красноярского края, сначала пешком, потом на лошадях, на попутных машинах, на множестве поездов, товарных и «пятьсот-весёлых» и вот наконец добрался до Булгар, выпростался из плацкартного и просто пошёл со своим мешком по смутно знакомым улицам города, где был когда-то красным головою и где чуть голову свою не утратил.

Мешок этот достоин отдельного описания. Он был ростом в две трети отца и скроен частично из брезентов, частично из шкур. Сверху завязывался обрывком кабеля. Среди его более-менее обычного содержимого: рукавиц, одеяла, фуфайки, пары растоптанных до полного уродства унт, потемневшей оловянной посуды с остатками пищи – были предметы довольно неожиданные, в частности топор, пила, вязанка дров, ведёрко угля, бутылка с керосином.

– А это добро-то тебе зачем? – с болезненной жалостью вопрошала тётка. – Пошто тебе растопка-то?

– А как же без этого?! – воскликнул он, потом осветился какой-то тёмной нечитаемой ухмылкой, потом стал суетливо завязывать мешок, заталкивать его ногами куда-то в угол, потом уронил голову в ладони и несколько минут сидел не шевелясь.

Позднее, придя в себя, он поведал о своих главных этапах. После приговора он провёл чуть ли не месяц в смертной камере «Бурого оврага», где по ночам ему казалось, что казнь уже совершилась и он пребывает вне земных пределов. Потом его отконвоировали наверх, зачитали указ о замене высшей меры на пятнадцать лет лагерей и пять лет ссылки без права переписки и немедленно отправили в шахты на Воркуту. Там, в едва ли не кромешной тьме, он быстро скапутился в доходягу и чуть ли не всё позабыл, что когда-нибудь с ним было в жизни, за исключением нескольких лет деревенского детства. Вдруг однажды во время какой-то переписки его опознал однополчанин, с которым вместе штурмовали Перекоп. Товарищ этот и в лагере не пропал, придурился по финансовой части. Он спас отцу жизнь, устроив к себе счетоводом. С тех пор в течение двенадцати лет каждое утро отец приходил в свой закуток, щёлкал счётами и крутил арифмометр. Когда основной срок кончился, его погнали из Воркуты в Красноярский край и выбросили в тайгу. Вот там он чуть не загнулся. Чудо снова спасло его, когда, издыхая от голода, он вышел к костру, вокруг которого кучковались такие же, как он, «робинзоны». Кабы не все эти чудеса, не сидел бы я сейчас среди вас, родные мои, живой и чистый! И тут он поведал нам ещё одну удивительную историю.

После оглашения приговора конвой повёл его по коридору клуба им. Менжинского на посадку в «воронок». И вдруг эту процессию обогнала крохотная старушечка, не кто иная, как родная его матушка Евдокия Власьевна Збайковичева. Забежав вперёд, она повернулась и осенила его крестным знаменем.

– Не бойсь, Павлушка, ничего не бойсь! – вскричала она прежде неведомым мощным голосом. – Без Божьей воли ни один волосок не упадёт с головы человеческой!

С тех пор в минуты крайнего отчаяния возникала перед ним, марксистом-ленинцем, фигура матушки с перстом над головою.

В лагере, зная прекрасно смысл приговора «без права переписки», он поставил себе правилом навсегда забыть о почте. Вдруг позабудут о нём, куда-нибудь в другое место дело переложат. В лагерной системе всё-таки царила халтура, чекисты чувствовали себя здесь скорее

крепостниками, чем палачами революции. Давайте, друзья, выпьем за нашу родную халтуру, она всё-таки спасла много человеческих жизней!

Он поднял стакан с водкой. Правый глаз его сиял, левый отсвечивал стёклышком. Голова моя шла кругом, то ли от водки, то ли от невероятности этого застолья.

– Bravo, старик! – вскричал я. – Нет-нет, ты вовсе не старик, так мы друг друга называем в Питере. Обещаю тебе, отец, выйти с твоим лозунгом на Октябрьскую демонстрацию!

Ночью я проснулся, не очень отчётливо понимая, где нахожусь, да и вообще, очнулся ли или грежу. При свете ночника на тумбочке, прямо напротив моего изголовья, в воде или какой-то другой прозрачной жидкости, на дне тонкостенного стакана переливалось то самое яичко глаза с голубым зрачком из моего детского кошмара. Уже много лет этот сон не возвращался, и вот теперь сердце забухало по всему телу, как это случилось в детстве.

– Васок, ты тоже не спишь? – услышал я голос отца. – Пойдём прогуляемся? – Он сел на диване, взял с тумбочки стакан, двумя пальцами извлёк глаз и весьма ловким движением вправил его в левую глазницу.

Ночная улица была пуста, только за парком медленно вёз свои огни в сторону пристани четвёртый номер трамвая да возле газетного стенда маячила какая-то долговязая фигура в майке, сползающей с худого плеча. Мы пошли по улице Энгельса к её пересечению с Ворошиловской.

– Освещение как было говённое, так и осталось, – весело заметил отец.

– Расскажи мне про глаз, – попросил я. Он тут же рассказал:

– Дело нехитрое. Я потерял левый, когда наша Пензенская форсировала Сиваш. Двенадцать лет спустя твоя мама купила мне два великолепных протеза у старорежимного офтальмолога Бергштольца. «Чтобы ты чувствовал себя полноценным красавцем социализма» – так сказала она. После первого же удара в лицо там, на «Буром овраге», протез вылетел и покатился по паркету. Лёжа на полу, я видел, как хромовый сапог раздавил глаз. Все присутствовавшие товарищи истерически хохотали. Что касается запасного, то это бабушка твоя спасла его при конфискации нашего имущества. Сестра берегла его все эти годы, смешно сказать, но именно как зеницу ока... Послушай, кто это всё время тащится вслед за нами?

– Это тот самый хромовый сапог, – сказал я и повернулся к приближающемуся Околовичу.

– Прошу прощения, – проскрипел тот. – Вышли спички. Нет ли огоньку?

Я зажёл свой большой огонь в зажигалке «Зиппо» и поднёс её к его лицу.

– Узнаёшь, отец? – Дрожащее, но негасимое пламя осветило бессмысленное лицо с набором морщин, вполне годным для сапога. Оно чмокало от предвкушения затяжки, но всякий раз, когда папироса приближалась к огню, я поднимал его вверх или отводил в сторону. – Узнаёшь?

Отец молчал. Я захлопнул «Зиппо». Тогда он чиркнул спичкой и протянул. Мы пошли прочь от гада.

– Если кто-то просит спичку, а у тебя они есть, нельзя отказать, – сказал отец.

Теперь молчал я.

– Знаешь, если бы глаз не вернулся, я, быть может, узнал бы этого, но теперь, когда и сын, и глаз, и все остальные со мною, я так счастлив, что до тех мне просто никакого дела нет, понимаешь?

– Ах, отец! – с досадой воскликнул я. – Много ли счастья прибавляет незрячий глаз?!

Он вдруг обнял меня за плечи. Впервые я это испытал, если не считать детских ласк – объятия отца.

– Знаешь, Васок, иногда мне кажется, что этот незрячий глаз давал мне какое-то удивительное зрение, – проговорил он с некоторой дрожью в голосе. – В те давние времена, когда мы все были вместе, мне казалось, что он помогает мне видеть будущее, а сейчас этот неотли-

чимый дубликат будто бы освещает давно забытое, задавленное мною самим прошлое. – Он замолчал, закашлялся, заплакал, а потом продолжил сквозь слёзы: – Иногда освещает даже неведомое прошлое. Вот, например, я вижу десятилетнего мальчика, стоящего над раскрытым сундуком и смотрящего мне прямо в глаз.

Через три месяца на Октябрьской демонстрации в Питере вместо шутки о «нашей родной халтуре» мы с кучкой друзей подняли другой лозунг: «Руки прочь от Венгрии!» Тут же, на Дворцовой площади, мы были арестованы. Суд, короткий и ухмыльчивый, распределил сроки, от трёх до семи лет. Я получил семь и отрубил их в Потье от звонка до звонка.

Прошло ещё сорок с чем-то лет. Окончательно рухнул социализм. Моложавый старик, рассказавший эту историю, до сих пор играет на рояле в московском клубе «Лорд Байрон» и поёт песенки на английском языке. Нельзя не отметить, что он пользуется льготами как жертва политических репрессий и, в частности, бесплатным проездом на общественном транспорте.



Тимур Алдошин

«Ну вот, и я говорю о том же...»

* * *

Ну вот, и я говорю о том же
под летней крышей из тёплых звёзд —
об этом длинном усатом бомже,
что ночью в наших дровах замёрз.

Он свой пузырь не допил, оставил,
хотя тянулась в снегу рука.
И, не нарушив старинных правил,
мы помянули его слегка.

Потом пришёл милицейский «газик»,
и мент ещё обложил бича,
что, мол, нарушил дежурство в праздник,
и ты сцепился с ним сгоряча.

Потом я вынес бутылку водки,
и тем исчерпан был ваш конфликт.
Потом мы в комнате, будто в лодке,
качаясь, плыли, и будто в лифт,

дрожа, валилися огонёчки
дрожащей елки, и всё путём,
и все мы радовались отсрочке:
когда-нибудь – не теперь! – пойдём.

И были танцы, и всё такое,
и «Все там будем!» – сосед кричал,
а мне вопрос не давал покоя:
чего ж он в двери не постучал?

А постучал бы – и не открыли:
немало бродит, не он один.
И бог с ним, в общем: его зарыли —
и нас заруют, закон един.

Ну вот и говорю о том же —
всё достаётся своим трудом.
С чего я вспомнил об этом бомже?

Да нет, никто не стучался в дом.

Живой

Сибирская фамилия: Живых.
Начальник орудийного расчёта,
он не боялся бога и ни чёрта,
ни танковых ударов лобовых.

Не прятал от солдат свой доппаёк,
не лез в окоп, когда в крестах
был воздух,
подбадривал: «В Берлине
будет роздых,
и Катя нам про ласточку споёт!»

...Не лапал кобуры, волком не выл,
когда упала санинструктор Катя,
лишь пнул ногою фрица в маскхалате,
и к остальным сестричку положил.

Один последний выпустил снаряд,
и вышел встреч пехоте с автоматом,
в любви Отчизне признаваясь матом, —
и приняла его земля своя.

...Поверх позёмки завихрений злых
шли ангелы в простреленных
шинелях...

И павшие живели и живели,
и улыбался, видя их, Живых.

«Не сеять, не думать, не плакать, не жать...»

* * *

Не сеять, не думать, не плакать, не жать,
не знать ничего из печали.

Июньская полночь стоит, госпожа,
над белыми, жалко, плечами.

Безумные, глупо, латунные псы
покрылись зелёной коростой,
как много тяжёлой и нежной красы
на утренних лицах погостов.

Мы все в электричке весенней в гостях
у рельсов, дверей и моторов,
на шпалах, камнях, на белых костях
сошедших с путей командоров.

Конечно же, скоро закончится лёд
на мёртвых асфальтах Казани,
и белое облако нас обольёт
большими, как сердце, слезами.

Ничто не достойно раздумья в ночи,
ничто не достойно печали,
когда облака умирают, ничьи,
над тёмными, жалко, ключами.



Олово

Олово станет как «О»
в дымном расплаве гаданья,
нимбом прикрыв воровство
в круглой коробке страданья.

В мягком ларце черепном
муку нашарив слепую,
звёздчатым шумным блином
прыгнет в лохань голубую...

Освободив навсегда
от изречённого страха...
Тусклый комочек вода
сделает горсточкой праха.

Олово станет как «О»,
выдержав пламя и воду,
но заберёт твою боль
светлому небу в угоду.

Будь же подобен и щедр,
встретившись с тайною раной,
выдохнуть сердца из недр
хрупкий порыв оловянный.

Чтобы, расплавясь, уйти
в пара тугое шипенье,
но чью-то душу спасти
от темноты и смятенья.

Чтоб, отразивши, принять
смерти простую невзгоду,
и в небесах воссиять,
не испугавшись ухода.

«На потеху клоунам и публике...»

* * *

На потеху клоунам и публике,
в цирке, в Колизее, на дворе
мы кусали дырчатые бублики,
круглые, как солнце на заре.

Облако, гляди, над нами тянется
и скрипит, как поезд и кровать, —
у тебя весёлый дядька пьяница,
а сестра умеет воровать.

Так что выйдем и наденем чистое
и в манеж рассядемся в песок,
стрелками прямые ноги выставим
всем ветрам на запад и восток.

Купол неба, ангелов овация,
листья плещут плавниками рыб,
если бы не белая акация,
мы их всех перемолчать смогли б.

Скоро будет радость подвенечная,
ясная, как быстрая слеза,
любящая светлые, беспечные,
ласковые хитрые глаза.

«Все ли ангелы идут с губами в землянике?..»

* * *

Все ли ангелы идут с губами в землянике?
Крепдешинами дыша сквозь хвойные шкафы?
И ты девочка ещё, и на толчке цыганок крики:
«Мальчики! Шарфы! Шарфы! Шарфы! Шарфы! Шарфы!»

Шар воздушный голубой. Лошадка. Голуби. Брусчатка.
Николай Васильич Гоголь барышню крадёт!
Встанем в кухоньке, славянка, и научимся прощаться,
и любить, и ладить ёлочке поклоны: до свиданья, Новый Год!

До свиданья, Рождество! Вот скоро предавать Рождённого,
и пустым постом разлуку искупать.
... Как ходила ты вокруг сахара вокруг жжёного,
как щекоткой роз вдруг жёгся Исфахан!

Ты да я, да мы с тобой – что стоим в небе, где везы с трещотками,
где воланы юбок раздражают нюх вола —
в сине-бело-золотое, в воскресение фарфоровое прощёное,
разлетаясь по паркетам по вощёным, да обнимемся дотла.

Шарф апрельский твой смешной. Губная гансова гармоника.
Что хотел в лесах твоих найти он: Родины? Тоски?
...С тараканом хохоча, в долбленной доньке дочка моется,
восхищённо поднося Катюньке куколке соски.

«На потеху клоунам и публике...»

* * *

На потеху клоунам и публике,
в цирке, в Колизее, на дворе
мы кусали дырчатые бублики,
круглые, как солнце на заре.

Облако, гляди, над нами тянется
и скрипит, как поезд и кровать, —
у тебя весёлый дядька пьяница,
а сестра умеет воровать.

Так что выйдем и наденем чистое
и в манеж рассядемся в песок,
стрелками прямые ноги выставим
всем ветрам на запад и восток.

Купол неба, ангелов овация,
листья плещут плавниками рыб,
если бы не белая акация,
мы их всех перемолчать смогли б.

Скоро будет радость подвенечная,
ясная, как быстрая слеза,
любящая светлые, беспечные,
ласковые хитрые глаза.

«Все ли ангелы идут с губами в землянике?..»

* * *

Все ли ангелы идут с губами в землянике?
Крепдешинами дыша сквозь хвойные шкафы?
И ты девочка ещё, и на толчке цыганок крики:
«Мальчики! Шарфы! Шарфы! Шарфы! Шарфы! Шарфы!»

Шар воздушный голубой. Лошадка. Голуби. Брусчатка.
Николай Васильич Гоголь барышню крадёт!
Встанем в кухоньке, славянка, и научимся прощаться,
и любить, и ладить ёлочке поклоны: до свиданья, Новый Год!

До свиданья, Рождество! Вот скоро предавать Рождённого,
и пустым постом разлуку искупать.
... Как ходила ты вокруг сахара вокруг жжёного,
как щекоткой роз вдруг жёгся Исфахан!

Ты да я, да мы с тобой – что стоим в небе, где везы с трещотками,
где воланы юбок раздражают нюх вола —
в сине-бело-золотое, в воскресение фарфоровое прощёное,
разлетаясь по паркетам по вощёным, да обнимемся дотла.

Шарф апрельский твой смешной. Губная гансова гармоника.
Что хотел в лесах твоих найти он: Родины? Тоски?
...С тараканом хохоча, в долбленной доньке дочка моется,
восхищённо поднося Катюньке куколке соски.

Доля

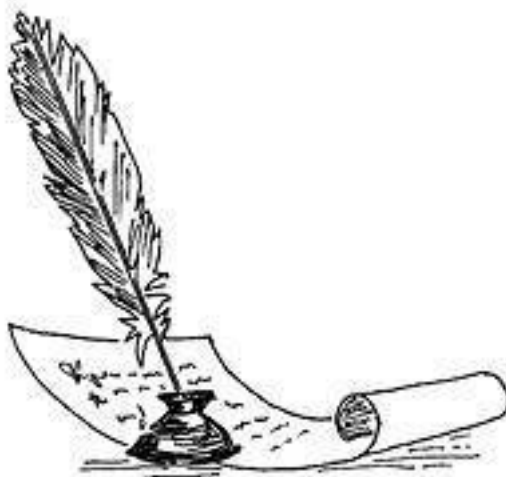
Вечерами тоска глухая
в государстве узкоколейном...
Ах ты, доля моя сухая —
запиваю тебя портвейном.

Выйдешь, пьяненький, в чисто поле —
тишина стоит, как проруха.
Хоть бы дождик случился, что ли!
...В мире пусто – как в горле сухо.

Ах, как сушит тоска предместий
сердце, ищущее вход в город!
Для взыскующего Невесты
жажда – много страшней, чем голод.

Нимб сатурновых полнолуний,
сушка, фенька, кольцо, прореха...
«Есть ли край?» – говорю Миуне.
«Рай, рай, рай...» – отвечает эхо.

Детской слёзкою затихая,
как в подол, утыкаясь в камни...
Даже кровь, как вода, сухая
в необласканной Богом Кане.



Николай Алешков

Август в Лаишеве

Птиц щебетанье в прибрежных кустах,
тёплого ветра душистые волны
и поцелуй на желанных устах
то ли на Каме, а то ли на Волге³.

Что ещё надо? Люблю тебя, жизнь!
Лето уходит, свечой догорая.
Ангел небесный, ещё покружись,
в прятки с листвой на закате играя.

Ты от напастей меня бережёшь,
нежно потворствуя райским забавам...
Вдруг пробежит августейшая дрожь
по перелескам, по волнам и травам.

Первые капли грибного дождя
забарабанят по листьям капризно.
Что я запомню, навек уходя
от берегов «задремавшей Отчизны»?

Птиц щебетанье в прибрежных кустах
то ли на Каме, а то ли на Волге
и поцелуй на желанных устах.
Долгий...

³ Городок Лапшево находится на слиянии двух рек.

«К чистому морю (такая история)...»

Да, скифы мы...
Александр Блок

* * *

К чистому морю (такая история)
манит и манит меня Евпатория.

За Евпаторией степи ковыльные,
древние тропы – забытые, пыльные.

Там археологи (времечко летнее),
пыль разгребая, разбудят столетия.

Здравствуй, прародина, скифская вольница!
Ветром развей мне волнистые волосы.

Что же припомнится? Все мы язычники.
Это потом – голубые наличники

в сёлах славянских за Камой и Волгою,
утро в лугах – сенокосное, волглое...

Память уносит под солнце палящее —
конницу вижу, над степью летящую.

Крики гортанные, стрелы калёные,
потные кони, как море, солёные.

Землю охаживать – дело не царское.
Непререкаема воля татарская.

Эй, полонянка! Зря смотришь с опаскою.
Будь мне наградой! Не силой, а ласкою

я понесу тебя к морю жемчужному,
к небу высокому, звёздному, южному...

«Вдруг всплывут, как Атлантида...»

* * *

Вдруг всплывут, как Атлантида,
эти терпкие слова:
Тарханкут, Керкинитиды...⁴
Солнцем выжжена трава.

«Что-то слышится родное», —
говорю я невпопад...
Степь, гудящая от зноя
ровным стрёкотом цикад,

степь, пропахшая, как ладан,
море – жемчуг, бирюза.
И заглядывать не надо
вам в счастливые глаза.

Я бродил вдоль побережья,
словно древний человек.
«Пламень чувств всё реже, реже...»
Вы на голову, как снег.

Даже море встрече радо —
солнце пляшет по волне.
Неужели это правда —
Вы приехали ко мне?

Сквозь столетия недаром
здесь оставили следы
греки, скифы и татары
у сверкающей воды.

Нам, конечно, хватит прыти —
Афродита, позови! —
со скалы отвесной прыгнуть
в бухту светлую любви.

Тарханкут жемчужной цепью
обозначит нашу крепь.
Ваши губы пахнут степью,
Вашей кожей пахнет степь.

⁴ Древние названия территорий западного Крыма

«Как тебе живётся, городская лошадь?..»

* * *

Как тебе живётся, городская лошадь?
Цокаешь подковами – слышно за версту.
И детишкам радостно, объезжая площадь,
шарики привязывать к сбруе и хвосту.

Помнишь ли, кауряя, детство тонконогое
с пастушком весёлым, с резвым табунком?
Не узнала, милая, хлеб с ладони трогая, —
с благодатной вольницей был и я знаком.

Ты сыта, ухожена. Да и мне, наверное,
грех, хоть было всякое, плакать над судьбой.
Что ж, давай обнимемся – прочь, тоска безмерная! —
о лугах нескошенных погрустим с тобой.

«Плохое уходит. Печаль остаётся...»

* * *

Плохое уходит. Печаль остаётся.
Она, как подруга, в беде познаётся.
Она, как подруга, покуда живу я,
и плачет со мной, и со мною смеётся.

«Памяти Леонида Остапенко...»

Памяти Леонида Остапенко

* * *

Солнце печёт ли, засвищет ли вьюга, —
в лютый мороз и в любую жару
дятел стучит над могилою друга
в Тарловском светлом сосновом бору.

Вспомню бывшее, сорву подорожник.
Друг, твой талант в сыновьях не угас!
Как тебе в вечном приюте, художник?
Мне здесь пока ещё верен Пегас...

Жили, стихи и картины творили,
женщин любили и пили вино.
Мало о вечном с тобой говорили,
но через нас говорило оно.

Друг, мне покуда на свете не тесно:
ангел хранит, и сияет звезда.
Если же встретимся в граде небесном,
значит, и я не умру никогда.

Ты не забыт, но с небесного круга
видишь ли – снова сады расцвели?..
Дятел стучит над могилою друга,
Годы считает кукушка вдали.

«Люблю смотреть на тихую реку...»

* * *

Люблю смотреть на тихую реку,
на облака, плывущие над нею.
Уже давно нагуливать тоску
по женщине далёкой я не смею.

А светлую печаль, река, развей!
Иная жизнь – и женщина иная.
Возврата нет. Я о любви твоей,
как о воде протёкшей вспоминаю...

Екатерина Аничкина

Скафандр и бабочка

Можно ли быть заложником собственного тела? Ещё как можно. И я не сказала абсолютно ничего нового. Скафандр и бабочка. Очень точное определение дал Жан-Доминик Боби... Этот человек в один ужасный день оказался полностью парализован. Единственное, что он мог, – это моргать левым глазом. И вот так, моргая, когда сидящий напротив человек произносил нужную букву, он написал книгу. Позже по ней сняли фильм.

У меня всё не так плохо. Я могу говорить, чувствую свои руки и ноги, могу работать на компьютере, нажимая на клавиши одним пальцем... Но перечислить то, чего я НЕ могу, наверное, невозможно. Моё тело – такая же темница для души-бабочки, рвущейся наружу, к свету, воздуху!

Я много раз могла умереть в детстве. Даже день моего рождения мог бы стать днём моей смерти. Но этого не случилось ни тогда, ни позже, когда уже моя мать вырывала меня из цепких лап небытия. Иногда я думаю: зачем? Знаю, это страшный вопрос. Я благодарна маме за то, что она спасла меня. Но этот вопрос всё равно мучает меня, и адресован он скорее самой себе и, возможно, Богу. Может, я осталась жива, потому что так было нужно? Может, я должна что-то сделать в этом мире? Если да, то что? Или всё гораздо проще, и моя жизнь результат стечения обстоятельств и самоотверженности моих родителей?

Моя жизнь похожа на тысячи таких же. В общем-то я ничем не примечательная девушка. Единственный мой «талант» заключается в том, что я иногда складываю слова в мозаику под названием «стихи». И если уж совсем честно – я не вполне понимаю, почему они нравятся окружающим.

Просто девушка, просто инвалид, просто одиночество и боль от того, что желания катастрофически не совпадают с возможностями. И ещё страх... Страх оказаться в конце концов никому не нужной. Родители, какими бы прекрасными они ни были, не вечны. Да и жить хочется здесь и сейчас, а не «когда-нибудь», когда медицина скакнёт вперёд!

Я люблю. И больше всего на свете хочу сделать любимого человека счастливым. Хочу быть с ним рядом, говорить с ним, утешать, когда ему плохо, радоваться вместе с ним, если всё хорошо. Но он далеко, и я не могу даже увидеть его! Казалось бы, чего проще – сесть в автобус или на поезд и поехать... Но... И таких «но» бесчисленное множество, когда ты целиком и полностью зависишь от окружающих!

Порой мне кажется, что я смотрю на всё со стороны, как в кино. Люди живут обычной жизнью, влюбляются, женятся, рожают детей. Люди могут заниматься чем угодно – танцевать, вязать крючком, играть на сцене, просто гулять по парку в обнимку с любимым человеком – и совершенно этого не ценить! А кто-то, как и я, смотрит на жизнь как сквозь мутное, звукопроницаемое стекло. И самое страшное, что это не закончится на нас! Будут дети, травмированные при родах, будут люди, покалеченные в автокатастрофах, и ещё много-много всего. А значит, будут новые бабочки, не имеющие возможности летать...

«Чёрные звёзды стали вдруг белыми...»

* * *

Чёрные звёзды стали вдруг белыми,
Белые лилии вдруг стали алыми,
Всё, что не сказано нами, несмелыми,
Сказано морю прибрежными скалами,

Сказано чайкой простору небесному,
Лесу дремучему чистым ручьём.
Лишь мы с тобою молчим всё по-прежнему,
Словно боимся чего-то и ждём.

«Я тонула в расплавленной бронзе заката...»

* * *

Я тонула в расплавленной бронзе заката,
И душа превратилась в гигантского ската,
На хвосте моём шип, только троньте – ужалю,
В ваши глупые игры уже не играю.
Горизонт не догнать, до луны не допрыгнуть,
Только молнии знаки на коже мне выжгут.
Нет следов на песке – стёрты пенным прибоем,
Смолкла песня любви, барабанным став боем.

Александр Архипов-Фёдоров

Нагая

В бытность машинистом папа водил поезда, вернулся в тот памятный день из поездки уставшим и всё же бодрился: у нас была ёлка.

На гостье из леса густо игрушек, всё больше бумажные, самодельные, намастерили которые мы, детвора, под оком моей тёти. Она горазда на разные выдумки, слыла непоседой и затейницей, любила нас, детей, хоть своих не имела. Кое-где на ёлке висели конфеты. Настоящие. Пробегая мимо, мы, ребятня, провожали их острыми взглядами, руки так и тянулись к ним, мы ощущали, кажется, их вкус и запах. Но велено было ждать. И никто из нас, даже из тех, что не признавали запретного, не касался их. Конфеты снимала обычно поздним вечером тётя, когда праздник кончался, и раздавала поровну каждому.

На самом верху дерева сверкала макушка, главная из игрушек. Её уберегла – вынесла из давнего своего детства тоже тётя. Под ёлкой заяка. Он матерчатый, и впрямь настоящий, что ни на есть самый лесной. Усевшись в пышную вату и блёстки, будто в сугроб, наметённый в непогодь, сумерничал себе на радость, сидел ни гугу. У него и хвостик, и лапки, и вислые ушки, и пуговки-глазки. Чудный зверёк!

Меня дивили разноцветные шары и шишки, которые, приняв свет от лампы, дарили обратно своим отраженьем голубые искристые звёздочки, трескучие, яркие: луна и ночь во дворе.

Мальчишки рады-радёшеньки: звучала гармонь.

Играл папа. Желание каждого из нас было потрогать тот зевластый инструмент, коснуться хотя бы какой-нибудь клавиши, извлечь звук самому. Но строгий бас гармонии и яркий отблеск лучей перламутра на её корпусе словно предостерегали нас. И мы стояли рядом, затаив дыхание, слушали музыку, как замороженные, не в силах даже шевельнуться.

Тётя вела хороводом девчонок. На лицах каждой улыбка и взрослость. Шли они то валким шажком, то, вдруг оживившись, ускоряли ходьбу и, приговаривая, хлопали разом в ладоши или, взяв ровный шаг, заводили скороговоркой песню, держались озорно и надменно, склонив горделиво прибранные головки в одну сторону.

И... война.

Взрослые поредели, зато поприбавилось подростков. Они заменили ушедших на фронт. Не стало у нас ни отца, ни гармонии. Мы оробели сначала, но вскорости, осмелев, возмужав, что ли, нередко напевали по вечерам дома то, что наиграл нам на ёлке отец. Изображая гармонию движением рук, «извлекали», мельтеша пальцами, нужные звуки брюзжанием губ и напевом. Расходились иной раз настолько, что вряд ли наш ребячий содом можно было бы сравнить с каким ещё на целом свете.

Мама сказала как-то:

– Надо бы сходить за гармонью-то к дяде моему, к Ене, за Волгу, две у него, выменять на зерно одну из них. Извелись, вижу, по ней, разговор с ним был у нас по Покрову ещё.

Мы присмирели, оцепенев от счастья: будет у нас гармонь. Настоящая! Знали также, что он, Еня, как только началась война, присоветовал маме отдать старшего из нас учеником токаря, на «железку», а среднему – пойти в колхоз, где выдавали натурой, младшему, мне это, значит, учиться. Старшие, мол, закончат школу после победы. Знали мы также, что на печи у нас мешок зерна, полученный братьями осенью (старший помогал и колхозу), последний.

– Мы ходим с младшим обыденкой к нему, – отозвался старший, – после моей ночной смены. За день надо нам успеть туда и обратно, приболел напарник.

Той смены мы дождались и, уложив в санки узелок с хлебом, пустились в дорогу. Не ахти торная, вывела она сначала к Волге, а после – к Свияге. В устье стоял монастырь. Забытый и ветхий, притулился он у самой подошвы горы, а дальше, вверх по реке, была деревенька, где наша гармонь. Чем ближе к ней, тем явственнее ощущали мы колотье в груди, забирала нас радость. Скоро над нами слева на взгорье показались избёнки. Неказистые, изношенные временем, взобравшиеся невесть как на самую кручу и присевшие на косогор своим подворьем, они глядели без устали на луг и речку небольшими оконцами, должно быть, долгие годы: брёвна обзавелись глубокими щелями и, потемнев, ослабились колючими зубками по торцам, в местах бывших возрастных колец древесины.

В домишке, куда мы вошли, сидел мужичок. Не обращая на нас внимания, сетовал на ветхость рыбацкой сети, которую ладил.

– Дядя Ень, мы привезли, – проговорил брат с порога.

Хозяин молчал. Протаскивая вязальную иглу сквозь ячейки сети, утягивал с прихрустом нить в узлы. Выждав, заговорил:

– А я подумал было, что вы не придёте и навроде бы с голодухи забыл и про хлеб. Разговор с матушкой вашей коли был?

– В Покров день, – ответил брат.

– То-то, что в Покров ещё, – выглянул из-под очков Еня. – По Покрову, молодцы, – добавил с лукавинкой в глазах.

В той тишине, какая установилась в избёнке, я почувствовал шумок в голове, захотелось присесть или хотя бы опереться на что-то, но рядом, кроме топчана, где сидел хозяин, не было ничего. «Не будет у нас гармонии», – подумалось.

Дядя Еня спустился с топчана. В очках и валенках выше колен он походил на kota в сапогах, смешным не казался, однако. «Невелик, а пригляден, – мелькнула у меня догадка, – свойский». Склонившись, вынул гармонь, с виду строгую, тёмного цвета, повыше той, на которой играл папа. Присев и устроив инструмент поудобнее, заиграл. В избе ожило. Посветлело словно. Зазвучал бодрый игривый голос:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по быстрой
Ли-хо-ой мо-оло-дец
Пльвё-ёт...

Пристукивая ногой и глядя отрешённо в передний угол, дядя Еня творил новое дело, умеючи и так же старательно, как только что налаживал сеть, с той разницей, что сейчас и лицо, и голос его, повеселев, подобтели, стали другими, роднее и не такими строгими, чем когда мы вошли.

И я, и брат, похоже, забыли, зачем пришли и где мы. Песнь и гармонь увели нас в другую жизнь, в никуда, где никого, где и нас-то самих будто вовсе нет, – небытие вокруг да и только.

Оконце избёнки приглянулось лучику солнца, по-зимнему робкому, блёклому, запоздалому. Хозяин умолк. Взяв аккорд-другой, перестал играть. Нажав на басовый клапан, выпустил запас воздуха из гармонии.

– Другую казать не стану, не продаётся она. Хотите, забирайте эту... Нагую. Голос она имеет что надо, вровень старинным, к тому же с грустинкой. Нагая, братцы, гожа для песенных и плясовых мотивов. Словом, не прогадаете.

Не знаю, о чём думал брат, а я – о той гармонии, о прежней, на которой играл отец, с ярким рисунком из перламутра на корпусе, знал, что прежние красивые, звонкие. Такая у дяди Ени тоже была. И вот: «Не продаётся».

Хозяин смекнул, о чём наши задумки.

– Вижу, сумлеваешься: раз нагая «современка», раздумья берут, смотрю, обоих. Согласен, она и цвета тёмного и без художеств на внешности. Но голоса-то всё одно стальные, точно такие же, как и у тех, у старинных. Замечу ещё, что Нагая – прочна. На ваш век хватит её, играйте себе на здоровье, а подучитесь, купите новую, если разонравится эта. – Забирайте, пока не раздумал. И день нынче зимний, недолгий, а до дому вам неблизко.

Уложили мы Нагую в санки и спустились к Свяге. Спешили знакомой дорогой, забыв сомнения. Сумерки. Снег звонче, чем давеча, как живые, катились салазки, на них наша покупка!

Достигли мы Волги. Дорога вела правым берегом, вверху Жигули над нами. Я позади и не свожу глаз с гармонь. Споткнувшись вдруг, навалился на неё рукою, встал.

– Волки! – кивнул брат на торосы льда, что у берега, у самой закрайницы. Суется, звери рычали, сильные теснили слабых, покусывая, гнали их от себя прочь. Те упрямылись, хотели тоже урвать свою долю, не уступая, грызлись нещадно.

Как разъярились! Невелика, видно, их жертва, мы бы не стоились вприкуску.

– Бери, братишка, гармонь, и садись в санки, повезу. Шуми-играй покрепче в Нагую.

Устроив меня на возке, брат пошёл, набросив бечеву на плечи.

– Они бегут за нами! – закричал я.

– Пусть, играй пошибчее! Погибать, так с музыкой!

И я старался. Растягивая и сжимая всю мехи гармонь, нажимал на клавиши враз и в одиночку, слушал, как звенели её голоса, приложив ухо к корпусу. Забывшись, подбирал на слух то, что играли отец и Еня.

Передний волк близко, вот он, въяве, до него рукой подать, он не из сказки, а с глаза на глаз со мною, рядом и морда, и глаза, и уши. Голова лобастая, большая, шерсть на ней кло-чьями, в глазах тупость и грусть, смотрят они не мигаючи. Раскрывая пасть, зверь то ли взды-хал, то ли раздумывал о чём, издавая невнятное: хрым... хрым... Сдавлив челюсти, хмыкнул, выдохнув шумно, как бы жалея кого, задрал морду, завыл: «У-у-у...»

– Он что, запел? – окликнул брат.

– Вр-роде этого, – ответил я.

– Играй веселее, шуми!

Хватая и бас, и лад, я играл, поняв, что в этом спасенье. Зверьё семенило вблизи тесной стаей, вожак молчал и прискуливал, будто и впрямь припевая под музыку или выражая недо-вольство. Задние вперёд не рвались.

– А у тебя получается, – опять приободрил брат, – до дому подберёшь, пожалуй, что-нибудь.

Мне ничто не запомнилось больше, наигравшись в гармонь и насмотревшись зверья, устал, «ушёл в себя». Очнулся дома, когда забрезжило утро.

Нагая? Вот она, на комоду, рядом! За день разучил все мелодии, какие слышал раньше, подобрал и гортанные вздохи зверя, тон его воя. И если доведётся когда и нынче взять в руки гармонь, кончаю игру волчьими звуками, что вынес в ту пору из детства. Оба, и волк и брат, вспоминаются: сохранили мне жизнь.

Вера Арямова

«Кофе варю на медленном, хотя предпочла б покрепче...»

* * *

Кофе варю на медленном, хотя предпочла б покрепче.
Белочка привередлива, птицей скользит по лесам.
Бог, как всегда, немилостив, нам, как всегда, не легче
в студии этой расфраченной среди ожерельных дам.

Да не тряси котомочку – счастье давно потрачено.
Крошку нашла на доньшке? Ладно, теперь ты Крез.
Снится почти что вымерший, плотною тьмой охваченный,
Богом вообще оставленный к зиме Кологривский Лес.

Полно; узлы завязывай, боль никому не сказывай;
Словно в судьбе залатанной точек опоры – рать.
Липнет подъезд заразный, мается друг одноразовый.
Это про местожительство – надо его менять.

День

Пугается день весенний,
как голубь, мелькнувший тенью
за тюлем, в чужом окошке
увидевший чучело кошки.
Рыдает в бреду бездельник.
Жизнь му`ку – в муку`, как мельник,
но всё же пробита брешь...
До отдыха – три зарплаты.
А всё же мечты крылаты...
На хлеб положи и съешь!

После вылета боли
как шуганутой моли
из тела, живущего еле,
запах хлеба и ели!..
Заплачешь и скажешь: спасибо,
поскольку ты выжила, либо
погибла, об этом не зная,
на светлом околышке рая,
где всё, как и прежде в жизни,
у лишней в своей отчизне.

Сантимент

Потеряла я не брошку.
Белый свет свернул в рогожку
и унёс под мышкой друг.
То-то как темно вокруг!
Но в округе много дела,
У округи нет предела.
А блошиный прыг да скок
Можно видеть в мелкоскоп.
Если хочешь, так гляди.
Я гляжу, что впереди:
Впереди стоит без крова
Кологривский лес суровый,
И ничё, – живёт народ.
А болячка заживёт.

«Что с того, что ты ходишь от стены к стене...»

* * *

Что с того, что ты ходишь от стены к стене,
глушишь джин и не пишешь своей родне –
свет и воля дежурят в твоём окне!
Как подлодка, лежишь на песчаном дне.
Но когда ты справишься, скажешь: да,
поплывёт вода, загудят поезда,
и тебе уж точно – вернуться туда,
и к чему эти муки, к чему тогда?..
Больше нет опоры, но сдохла цепь,
и остался только тот труд и цель,
для которых, ты, может, и рождена,
а иначе – зачем караул у окна?..
А иначе зачем снова рухнула жизнь,
и зачем этой ночью звёзды сошлись,
зашивая прореху вырванных лет?
Увезут, если даже не купишь билет...
Истончаются запахи сытых крыс,
ты щелкунчик-гость, а теперь – держись,
а теперь держи – вот твоя звезда.
Неуспавшая. Верная. Навсегда.
Не нашли других – это твой лишь крест.
Не реви. Не пей. Небеса – окрест!
И в небесном зале, смотри, – аншлаг.
Что не так с тобою на сцене? Ну что не так?

Отпуск

Никуда не поеду, останусь в трясине уюта
посредине холста на гнездящемся в ветках дому,
в чашке время моё серебритя снежинкой-минутой,
а в окошко я вижу Казань, Кологрив, Кострому...

В этом небе, как в поле – увижу ту сторону Света,
и дорогу, которая, как и всегда, далека,
и течёт она в Лету, быть может, сквозь тёплое лето,
и, конечно, пылится, и светится даже – слегка...

И, конечно, зовёт. Ведь дорога не звать не умеет.
В чашке время кончается. Значит, пора, брат, пора.
Значит, надо собраться душой, чтоб казалась смелее.
А пока просто выжить, как бог даст, – хотя б до утра.

«Хватит, родная, на закате не спят...»

* * *

Хватит, родная, на закате не спят.
Полно растрачивать день на пустые виденья.
В двери звонят. Никого? А открутим назад
пару минут?.. Разлюбила, видать, приключенья.
Ветер да листья, да грозы, да дождь за окном.
Лето кончается; что ты лежишь, не одета?
Ветер
не Вергер,
да листья –
дались тебе листья, –
потом
будешь лежать, когда кончится жизнь или лето...
Ну а сейчас тебя ждут – доставай чемодан,
шляпку, мадам, не забудь и не медли нисколько.
Поромантичней закутай недевический стан,
и не гляди в зеркала на дорогу, тем паче – в осколки.
Им, приключеньям, неважно, какая пора,
им без разбору – зима на дворе или лето,
если не счастлива – будешь хотя бы согрета,
там, где за тучей, конечно, белеет гора...

Прощание с Казанью

Крики чайек в гуще города,
смелый луч с утра в окне
зажигает в тюле сполохи,
простыней пронзает ворохи.
Хорошо живётся мне!

Если утро, значит – раннее,
начинает день сурка.
Значит, снова буду ранена
острым счастьем у виска.

Розы в вазах со старанием
гибко льют свою красу;
срезанная жизнь – прощание,
никакого обещания,
что такое я снесу!

«...В ходе долгого перевоза...»

* * *

...В ходе долгого перевоза
между Нижним и Кстово
стало совсем хреново...
Увядала казанская роза.
И я стала её жаждой,
в лепестке и листке каждом,
и я стала темнотой ночи...
Но дорога – жизни короче.
Сиротство.
Мой путь пролегает на север.
У долгой разлуки с отцом
меняется статус: forever.
Теперь я прощусь с мертвецом.
На ветке железной дороги,
единственный раз за весь год
навстречу – красивый и строгий —
он с чёрной балеткой идёт.
Немыслимо наше касанье,
но душ ощутимая связь...
Отец остаётся в Казани,
где жизнь его оборвалась.
Мой путь пролегает на север,
под тусклыми иглами звёзд.
Небесный не справится сервер,
исчезнет покинутый мост.
Никто ничего не заметит,
невидим ни холмик, ни крест,
но нам, не смирившимся детям,
так трудно прожить без чудес.

«Осень, здравствуй, мы с тобой подруги...»

* * *

Осень, здравствуй, мы с тобой подруги.
Мы вернулись снова в Кострому.
За какие дивные заслуги
эта ссылка сердцу и уму?
Что от нас Господь сегодня хочет,
что ещё придумал под конец?
Дело к ночи, это ясно, Отче.
Вышиваю – крестиком! – чепец.
А мои дорожные ботинки,
чувств моих и мыслей кипятки
ты в такие превратишь картинки —
мною, отбывающей твой срок.
Яблоко должно быть крутобоким.
Женщина должна быть молодой.
А поэт быть должен одиноким.
Ну, Господь, совсем. Как мы с тобой.

«Прошла Вальпургиева ночь...»

* * *

Прошла Вальпургиева ночь,
я небо тайно наблюдала,
и как тайком вернулась дочь,
скользнув с метлы под одеяло...

Постой, какая ещё дочь?
я ж только сыновей рожала!..
Но оба выросли – и прочь...
...поправлю дочке одеяло.

Эротическое

Ещё не утро и почти темно.
Прохлада августа в открытое окно
лёт гибкое и ледяное тело,
под одеяло – языки и ласты,
скользнула по лицу и меж грудей,
как это часто
и среди людей...
и спящая во сне – помолодела.

Белла Ахмадулина

Моя родословная

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, ещё не рожденный, но как – если бы это было возможно – страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный её счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащитности, этот – ещё не существующий ребёнок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но всё же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придёт к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но всё же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чьё доброе влияние навсегда определило её судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером... Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нём меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший своё казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мой дыхание и зрение, представляются мне прекрасными – не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нём непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль – их поливать водой!
Мой стебелёк, желающий прибавки,
вытягивать магнитную звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетия вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной

мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнётся, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
– Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но всё ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлён и говорит:
– Чур, чур!
Ты кто?
Рассейся, слабая туманность! —
Я говорю:
– Я – нечто.
Я – чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри
воздух?

Возражение Игрека:
– Не дождёшься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой вороны вещей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в типе разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной её белейшей
на кладбище роковом.

(Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,
в чём торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,

зверем, деревом, жуком
и высоким животом,
той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

– Помолчи. Я – вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то – есть, а нет – тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха,
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха!

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, прапра —
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удручённой головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я – искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.
Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:

«Не смей! Не знай!» – и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он – так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, Бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернётся через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но Боговым суровым облакам
не жалуясь! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он – шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прошусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала – гения,
вышло – шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой – невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Лю-чия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
но некогда в российское село —
ура, ура! – шут прибыл итальянский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,
так властен в нём зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц,
что он – о, ужас! – в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведёт меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Ещё мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? – всё игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я – тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне грустный пропуск выдан —
всё ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остаётся мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж – пускай он по задворкам ходит.
старьё берёт или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своём
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шёл, черно кося зрачком,
большой ноздрёй принохиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живёт нигде, но рядом
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет жёлтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усечённой полумглой зрачка
всё ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.
Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил её в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!
Быстроту этих глаз, чуть косивших, я,
как птиц, целовал на лету.
Семью семь её чёрных косичек
обратил я в одну темноту.
В поле – пахарь, а в воинстве – воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых – прав навеки,
кто волен, средь умерших – бессмертен, кто прав.
Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в её ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясёт бородой Шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражён
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,

которая ей так была к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная, осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца тёмная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не укутать.

Как матери влюблённая корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг невероятный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую – Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Учёные жить скупой да с умом,
красавицы с огромными глазами

сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»

О, как гром в этот дом
бьёт огнём и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.
О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти чёрный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.
Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.
Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.
В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!
Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волненье. Что там? Выстрел. Мешанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьёзной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века —

мерцает лбом тщеславный гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,

тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведёт себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:
– Прекрасен человек, принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живёт инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мёд
земных растений, труд ему угоден.
Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.

Но всё же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его желание
движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зелёного побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

– Всем, кто бунты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,

и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —
всем отвечу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадую
и засов задвину сам.
В чём клянусь верностью государю императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней – и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава богу, власть жандарма
всё, что есть, сведёт на нет.

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.
Никто на похороны
копеечки не дал.)

– Знают люди, знают дети:
я – бессмертен. Я – жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе...

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведёт себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маёвок бабушка моя
несёт двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» – «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждёт чего-то.

В какую даль теперь её везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берёт на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстилался,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг – мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле её лица таятся
движения неведомых причуд.

Всё ждёт. И ей – то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьёт по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.
О, три слога! Рёв сильных широт
отворённой гортани!
Как в красных
и предельных объёмах шаров —
тесно воздуху в трёх этих гласных.
Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.
Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.
Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.
Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременно чередом идёт,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предслыша небо серебром лопаток.
А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на остриё пространства,
та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших

ей предстоит удача и печаль.
А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперёд и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечёт азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я – скоро. Но куда нет меня.
Я – где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат – и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приёмной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом – и предстать в её проёме.

Ужо рожусь! Ещё не рождена.
Ещё не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я – вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.

Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волнением среди тех кулис,
в потёмках, за минуту до дебюта!

Ещё не знает речи голос мой,
ещё не сбился в лёгких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галёркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр,
тот бой меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерождённым и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей её в ней погребённых.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребёнок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас – дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О, нечто, крошка, пустота,
ещё не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспряmlенный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я – умник, много лет проживший, —

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься – что же, в том
всё ж есть своё благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
всё выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там – во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

(Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займёт весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведённый кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьёт

один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, всё дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелю с тонкою спиною.

Весёлый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!)
— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь. Да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —

не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец? Но, среди всех затей,
любой наш год – утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рёв,
захлёбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, ожёгший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом – воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что ещё вам сказать?
Я не знаю.
И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

**Написала всё это Ахмадулина
Белла Ахатовна.**

**Год рождения – 1937.
Место рождения – город Москва.**

Наиля Ахунова *хайбун*

Стрижи и бабочки

Вчера меня разбудили стрижи и бабочки. Стрижи со свистом и щебетом носились за окном, а пара крупных нарядных бабочек залетела в мою комнату. Одна из них присела на одеяло прямо передо мной, а потом перепорхнула на занавеску, бахрому которой перебирал своими длинными пальцами залётный утренний ветерок. А в приоткрытую дверь балкона нетерпеливо заглядывали цветы...

Стрижи стригут воздух.
Бабочки облаков
уносятся ветром.

Клад

С возрастом начинаешь себя ощущать золотоискателем. В завалах пройденного перебираешь воспоминания, ощущения, впечатления... В поисках тех драгоценных крупиц, тех счастливых мгновений, что составляют настоящую суть и смысл твоей жизни, которые хотелось бы вспоминать напоследок...

Частое сито памяти.
Золотые крупы
воспоминаний.

Снеговичок

За ночь выпало много снега. Да и сейчас метель из сил выбивается, навёрстывая упущенное. На детской площадке во дворе всем широко улыбается аккуратный снеговичок, но некому улыбнуться ему в ответ, в это время во дворе пустынно, одни лишь вороны...

Крахмальная манишка
зимнего утра
запятнана кляксами ворон.



Наперегонки с одуванчиками

В маминой комнате висит большая картина, по сути пленэрный этюд: холст, масло. Солнечный день в конце мая или начале июня, зелёный косогор, кое-где заросший деревьями и кустарником, вдалеке угадывается река... Этот пейзаж я подарила родителям много лет назад, на папин юбилей. Он ему напоминал родное арское холмогорье, где берёт начало река Казанка. А мне сейчас – покойных маму и отца. И беззаботные летние каникулы в Арске...

Взбегаю на косогор
наперегонки
с одуванчиками.

Вечерняя молитва

Иду старинным татарским кладбищем в Арске. Тихо, лишь под ногами шуршат опавшие листья. Узкая тропинка, влажная после дождя, вьётся мимо старой части кладбища. Но вот и родительские могилы... Над ними, склонившись, всюю полыхают рябины. По-летнему тепло, последние погожие дни бабьего лета. Заботливый паучок оплёл калитку в три ряда серебряными нитями. Хризантемы и бархатцы ещё свежи и яркие, но бабочек уже не видно...

Серебряный полумесяц
над кладбищем.
Вечерняя молитва.

Лунные блики

«Лунные блики таят неизбывную печаль...» – написал как-то Китахара Хакусю. В бессонную морозную ночь уходящего года Дракона читаю стихи японских поэтов Серебряного века. Луна серебрит изголовье. Улыбаются со старой фотографии молодые папа и мама...

Лунный круг.
Как трудно разомкнуть
Объятия...

Снова метель

Один за другим погасли огоньки тюльпанов, подаренных на 8 Марта. А за окном снова и снова кружит метель. Март – четвёртый месяц зимы в наших широтах...

Снова метель.
Рисую пастелью
цветы и бабочек.

Люблю сказки

Больше всего на свете я люблю сказки. С хорошим концом. С самого раннего детства. Благодаря им я полюбила книги и чтение. Почти все современные мелодрамы – это современные варианты «Золушки» или «Дюймовочки», или «Гадкого утенка»... Из сказочных персонажей больше всего мне нравились феи и добрые волшебницы. В раннем детстве я мечтала быть похожей на них. И вряд ли была в этом одинока. И сейчас эта мечта, похоже, не совсем исчезла. Но жизнь, увы, часто превращает милых мальчиков и девочек в Бабу-ягу, в Бармалея, в Снежную королеву, в Дуремара, в Карабаса-Барабаса, Лису Алису... Но иногда чудеса всё же случаются, особенно под Новый год. Главное, верить в это, как в детстве...

Под Новый год
верят в сказки
не только дети.

Айсберг

На углу улиц Бутлерова и Маяковского Казани долго зиял пустыми глазницами-окнами Дом культуры медработников, от них веяло ледяным холодом заброшенности... А раньше здесь двери не закрывались: драмкружок, народная оперная студия, клуб книголюбов, вечера, дискотеки... С этим домом связано десять с лишним лет моей жизни: я работала здесь сначала библиотекарем, а потом заведующей библиотекой – вплоть до её закрытия. Наступили перемены и в самом начале 90-х профсоюзные библиотеки стали закрываться. Некогда большая и сильная межсоюзная библиотечная система развалилась. Перестали существовать старейшие библиотеки в центре Казани: Дома учёных, ДК госторговли, обувной фабрики «Спартак»... А ведь они обслуживали и взрослых, и студентов, и школьников... Один мудрый человек заметил когда-то, что если экономить на культуре и образовании – потом придётся тратить на тюрьмы.

Капля камень точит.
Сколько слёз нужно,
чтобы растопить айсберг?

Аллея Жемчужовой

Дома на Аллее Жемчужовой выходят окнами в парк «Кусково». Сквозь зелень, слегка тронутую желтизной, пробивается сентябрьское солнце. На карнизе голуби заглядывают в окно. Они терпеливо ждут, пока хозяин не насыплет им горсть проса. Прилетают ещё, но чужаков дружно прогоняют. Вот по тропинке прошла девушка с далматинцем, который ярко выделяется на общем фоне. Проехала медленно поливалка. Солнце незаметно исчезло и всё как-то потускнело...

Поливальная машина,
а следом —
дождь...

Млечный Путь

Гулять в сосновом лесу ясным днём в пору цветения ландышей – ни с чем не сравнимое удовольствие. К терпким запахам сосновой хвои и смолы примешивается тонкий, дурманящий аромат цветов, которые матово светятся под широкими листьями, словно рассыпанные крупные жемчужины. Они прячутся в ложбины, в лощины, жмутся поближе к могучим соснам, пока светотени по-хозяйски делят лес...

Гуляю в лесу
среди ландышей.
Млечный Путь.

Slow life («медленная жизнь») – движение, объединившее множество людей из самых разных стран мира. Адепты Slow life руководствуются желанием жить неспешно, наслаждаясь повседневными моментами. Завоевание новых и новых рубежей, карьерная гонка не являются приоритетами для сторонников «медленной жизни»; они не лентяи, они, скорее, гедонисты, стремящиеся каждый день своей жизни прожить не зря.

Одним из самых популярных пособий по Slow life, первые предпосылки которого появились ещё в середине 80-х, является книга канадского журналиста Карла Оноре «Похвала медлительности» («In Praise of slowness»), переведённая на 30 языков.

Гость

Сегодня ко мне в гости без стука ворвался ветер. Переворочил все бумаги на столе, перешерстил волосинки коту на хвосте, запарусил занавеской, словно приглашая за собой... Сначала увлёк на балкон, а затем я и сама не заметила, как оказалась во дворе. Там было так хорошо после душной надоевшей комнаты, а ветерок всё кружил вокруг, обволакивая запахами летнего вечера...

Город заснул.
Гуляем вдвоём —
ветер и я.

Мамин портрет

*Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин чёрный кот глядит как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.*

А. Ахматова

На книжной полке стоит в простой деревянной рамочке мамин портрет. Её последняя прижизненная фотография. На нём видны царапины. Любимец мамы, чёрный кот Шаян, после её смерти каким-то образом умудрился забраться именно на эту книжную полку и долго трогал лапой портрет...

Портрет в простой рамке.
Два жёлтых тюльпана.
Надолго ли разлука?

Евгений Баратынский

Признание

Притворной нежности не требуй от меня,
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нём уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.
Я не пленён красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлёкся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе зывал я редко, принуждённо,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.
Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной;
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу, без любви – кто знает? – избери я.
На брак обдуманый я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам.
И назову её моею;
И весть к тебе придёт, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами —
Мы жребии свои соединим.
Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;

Печаль бесплодную рассудком усьмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей

Судьбе.

Сергей Малышев перо и время

Неподражаемый Баратынский

Подражатели есть у каждого незаурядного поэта. А уж чужие находки использовать – дело самое естественное, на этом вся поэзия и держится. Не случайно Анна Андреевна Ахматова и Владислав Фелицианович Ходасевич всю жизнь перечитывали Пушкина и всякий раз открывали для себя что-то новое и нужное.

Я тоже иногда перечитываю Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Есенина, Заболоцкого, Пастернака... Восторга при этом не испытываю, просто люблюсь сделанным ими и думаю – как это сделано? Всё-таки интереснее, чем телевизор смотреть. И никогда не возвращаюсь к стихам Евгения Абрамовича Баратынского. Те три или четыре стихотворения, которые когда-то сразили меня наповал, я и так помню почти наизусть. И понимаю, что «развинчивать» их мне не по силам. Все они подходят под определение «философская лирика».

Мысль и поэзия... Сразу вспоминается пушкинское «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». То есть излагать свои раздумья в ритмизированной форме необязательно, прозы для этого вполне достаточно. Всё-таки стихи предназначены для передачи переживания, настроения. Как там у Верлена? «Довольно музыки одной». Если же и появляется в стихах мысль, то это не какая-то глубокая мудрость (хотя иногда и может оказаться такой), а попытка передать ощущение мысли, эмоций, которые она вызывает.

Странный комплимент сделал Александр Сергеевич Баратынскому: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Как будто сам гений творил легко и просто. «Ангел точности» (по определению одной французской исследовательницы) думать умел ох как хорошо. Его черновики показывают, что к гармонии и ясности он шёл через хаос в собственной душе, – а для этого нужен ум дисциплинированный и настойчивый. Да и его проза, даже мелкие наброски, настолько богаты идеями, что уже второй век хватает их для написания огромного числа статей и монографий.

Среди настоящих поэтов людей, не умеющих думать, нет.

Философская лирика Фёдора Ивановича Тютчева – глубока она или нет, это другой вопрос – формально сделана довольно просто. Советский поэт Николай Николаевич Ушаков, прекрасный версификатор, в стихотворении «Бино» продемонстрировал один из приёмов, на которых работал безусловно гениальный творец – гениальный всё-таки в «чистой» лирике, без всяких там философий:

Я знаю,
трудная отрада,
не легкомысленный покой,
густые грозди винограда
давить упорную рукой.
Вино молчит,
А годы лягут
В угрюмом погребе, как дым,
пока сироп горячих ягод
не вспыхнет
жаром золотым.
Виноторговцы – те болтливы,

От них кружится голова.
Но я, писатель терпеливый,
Храню, как музыку, слова.
Я научился их звучанье
Копить в подвале и беречь.
Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речь.

Последние две строчки – чем не тютчевские?

Похоже, Баратынский неповторим.

Он, усвоивший легкость Батюшкова, Жуковского, Пушкина обдуманно утяжелил, архаизировал свой поэтический язык и создал несколько шедевров, в которых мысль, чувство, интонация и образ сплавлены воедино.

В России сейчас одновременно творят сотни интересных поэтов. Автор считается явлением, если у него есть с полтысячи читателей. Из которых едва ли десяток понимает, что же на самом деле выдаёт на-гора их кумир. Угробить жизнь, чтобы создать парочку шедевров, которые всё равно фактически никто не поймёт? Обидно как-то. Лучше творить эффектное – и быстренько. Что и делается.

Так что рядом с Баратынским не встанет никто.

Николай Беляев

«Здравствуй, радость моя усталая...»

* * *

Здравствуй, радость моя усталая,
стариковская, неоглядная!
Наши годы – мелькнули стаями
перелётными, листопадными...
Где они – за которым облаком
что трубили – не так и важно.
Посидим за кухонным столиком,
помолчим... Умирать не страшно.
Что-то сделано всё же хорошее,
что-то выросло из желанного,
в новый век заглянули, пожили,
наглotalись его туманами...

«На последней прямой...»

* * *

На последней прямой
не щадят ни коней, ни моторов.
На последней прямой —
гонят, всё выжимая из них.
На последней прямой —
не до праздных глухих разговоров.
Бормочи, не стесняйся,
из глубин твоих рвущийся стих!

«В душу запавшие с детской поры...»

* * *

В душу запавшие с детской поры,
(ввек не найти живописней и краше!) —
волжские кручи, холмы и бугры,
это былинное зрелище наше.
Этот – до Каспия – дивный простор,
рощи и пажити, и деревеньки,
эхо Урала, предчувствие гор,
память Орды, Пугачёва и Стеньки.
Нам не уйти от тебя никуда,
вечно звучит твоя музыка в сердце —
золото, синь, голубая вода,
небо, в которое не наглядеться!

«Снег выпал, как всегда – прекрасный...»

* * *

Снег выпал, как всегда – прекрасный
и чистый снег.
И над землёй сияет месяц ясный,
лёт ровный свет.
И что-то явно дееся с душою —
молчит, светясь.
Ей снова по плечу – большое,
что держит нас
на этом сине-белом свете:
твори, пророчь!
На неразгаданной планете,
летающей в ночь.

«Ах, молодость! – не сдуру ли? – полез...»

* * *

Ах, молодость! – не сдуру ли? – полез
на стену, на скалу береговую,
без снаряженья, без страховки, без
верёвок, крючьев... Понял, чем рискую, —
когда до верха – метра три, а вниз —
и глянуть страшно – берег, осыпь, камни...
и под ногами – узенький карниз,
а вверх – крошится сланец под руками...
Завис, завис, дурак, над Ангарой!
На том карнизе – стой, зови подмогу...
Вжимаюсь в стенку: «Что же ты, герой?
Допрыгался? Куда поставишь ногу?»
Но ищут пальцы и глаза – возможный путь,
шиш – кварцевый с кулак – надёжен вроде,
и трещина – расширь её чуть-чуть —
опорой станет, и сосновый корень
повыше – в трещине – поможет одолеть
и уцелеть, и выбраться...
Спасенье —
в одном рывке.
А дальше – можно петь
и любоваться Ангарой осенней!
Рывок, и – выдержали кварц и корешок —
я наверху, в траве лицом горячим...
Не торжествую – был от смерти на вершок.
Мне повезло... Случайно, не иначе...
Сочувственно насмешлив лик Удачи...
Тяжёл и төмен глаз её укор.
Я – знаю, чую на себе его с тех пор.

«Поэт в столице больше, чем поэт...»

Евгению Евтушенко

* * *

Поэт в столице больше, чем поэт.
Поэт в провинции – талантлив или нет —
он что-то вроде местного придурка,
не выше пешки шахматной фигурка.
И сколько к небу взор не возноси —
так было, есть и будет на Руси.
Но – живы, свищут в роще соловьи:
«Пой, не скрывайся, милый, не тай!»

«Невидимы, под козырьком крыльца...»

* * *

Невидимы, под козырьком крыльца,
сидим мы за полночь, от родины отца,
от Костромы, в недалеком далеке,
он чуть поодаль – на одной доске
крылечка нашего сидит...
Нам хорошо.
Мы чувствуем: меж нами – тьма и сырость,
меж нами время навсегда остановилось,
и нет его, как будто, да и что
мы называли временем когда-то?
Лишь воздух, холодящий поры щёк,
и звёздной бездны яма...
Маловато
мы говорили с ним...
А он мне дал
так много – мне вовек не отдариться.
Я многого не понял, не узнал,
и чувствую себя теперь тупицей,
бездельником, плохим учеником...
Он смотрит – сбоку, вопрошающе, сурово,
а у меня застряло в горле слово,
и по щеке слеза бежит тайком...
– Прости, отец! За всё меня прости!
– Чего уж там... Всё позади. Сиди...

«Почти две тысячи моих стихотворений...»

* * *

Почти две тысячи моих стихотворений —
итог скорее грустный, чем весёлый.
Почти две тысячи ударов головой,
несчётное число ударов сердца —
о стены каменные и стальные двери,
о стены, разделяющие нас:
– Услышьте, спорьте или – улыбнитесь!
Я не для вечности – для вас дышал, творил.

«Не старость, нет...»

* * *

Не старость, нет.
А всё же первый снег
сверкает, чист, стеклянно-сух, бесстрастен.
Ещё вчера его слепой набег,
его кружение я назвал бы счастьем.
А ныне я стою, задумчив, тих,
смотрю на снег – подарок рваной тучи...
Я старше стал. На этот снег. На стих —
вчерашний, холодно-наивный и блестящий.

«И – мимо, мимо весны...»

* * *

И – мимо, мимо весны,
мимо лета, мимо осени, мимо
самих себя и мимо своей эпохи...
В Курземе, не добежав до моря,
валуны навсегда увязли.
Кажется – только мимо Земли
не удалось никому промчаться.
Велта Калтыня
То ли юность окликнула,
то ли опыт труда и лишений,
бесконечных обманов,
с которыми каждый знаком,
но похож я сегодня на камень,
валун обомшелый,
в чистом поле лежащий,
заброшенный к нам ледником.
Под развесистой клюквой
чужих философских суждений,
я лежу под покровом мечтаний,
метаний слепых,
в переливах тональностей
вешнего света и тени,
в отраженьях на плёночке волжской,
и где-то в пространствах иных.
Светит солнце, и суша опять разрастается,
травы сорные сыплют на раны свои семена.
Вьюга к вальсу зовёт,
кувыркается, чуть издевается:
– Что один-то? Ведь полночь
глуха и, как прежде, – темна...
Голубые и синие, рыжие мамонты вымерли.
Не приходят бока почесать об меня уже тысячи лет.
Бородатый геолог один меня знает по имени,
да ещё прозорливая Велта,
хороший латышский поэт...
Это время распада, разлада,
оборванных связей,
нищеты и разбоя,
и поиска новых путей,
перекройки миров,
столкновений Европы и Азий,
под припляс хороводный

язычески-тёмных страстей.
Я под небом лежу, постигая вселенскую Тайну.
Тайну Света и Тьмы
в паутине межзвёздных лучей.
Притяжение душ в этом мире
совсем не случайно
и подвластно Любви
и Природе, всеобщей, ничьей...

«Я – клоун зеленомордый...»

* * *

Я – клоун зеленомордый,
пастой зубной раскрашенный,
я улыбаюсь грустно,
в руке – апельсин всегдашний —
как солнышко всем сияет,
весь мир собой освещает!
Я не ем апельсинов.
Я раздаю их детям:
– Живите честно, красиво,
как следует жить на свете.
Не так, как мы умудрились —
веселей, бесшабашней!
Сияйте, не торопитесь
и помните: жить – не страшно!

Андрей Битов
переводы сур Корана

О человек!
(Сура 36)

Ужель не хочет человек
Понять, что он из капли создан,
С Творцом торгуясь весь свой век,
Забыв, чьи есть вода и воздух?

Он предлагает притчи нам,
Как будто послан мимо цели, —
Кто может жизнь сухим костям
Вернуть, когда они истлели?

Создатель Неба! Ты один
Исполнен необъятным знаньем.
Ты – моей воле Господин,
И Ты – узда моим желаньям.

Иначе – только взблеск и вскрик —
И помыслы мои иссякли...
Всё это длилось сущий миг,
И бритва воплотилась в капле.

Отсрочка (Сура 77)

Нас шлют вдогонку друг за другом,
И мы летим во все концы,
Оповещая круг за кругом
Весну конца. Конца гонцы,

Мы чертим грани различенья
Добра и зла между собой,
Предупрежденья иль прощенья
Не возвестив своей трубой.

Но что обещано, то будет...
Но не сегодня, не сейчас.
И грешник всё ещё подсуден
Лишь в смерти. Как один из вас.

А то, когда погаснут звёзды
И распадётся небосвод,
Вам не страшней шипов у розы,
Что преподносит вам Господь.

Ашшар **(Сура 94)**

Не мы ль раскрыли грудь тебе?
И залили души пожар?
Не уступи свой мир борьбе!
Аллаху Слава! и – ашшар!

Не мы ль возвысили ту честь,
К которой частью ты приставлен?
Сумей же дни свои прочесть,
Пролистывая страницы Славы...

Как вдох и выдох, мир живёт:
Наступит время сбросить ношу,
И облегчение придёт
И тяготы твои раскрошит.

Да, облегчение придёт!
Тащи же ту же тяжесть в гору.
За высью – высь, за годом – год...
Но связи нет меж них, ни спору.

Трудись! пока спекутся жилы
В броню от неустанных битв...
Отдай свой долг – верни все силы:
Труд – продолжение молитв.

Аззальзаля (Сура 99)

Когда в конвульсиях Земля
Извергнет бремя
И будет повернуть нельзя
Вспять время,

То будет явленная речь
Земли и Неба,
И в ней дано будет испечь
Подобье хлеба...

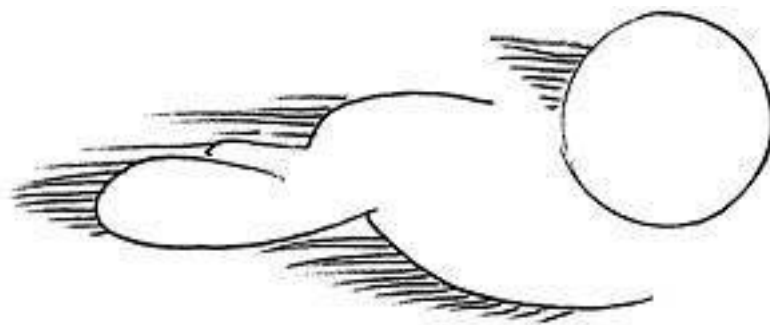
Разделится, толпа с толпой,
Людская лава,
Как разлучает нас с тобой
Здесь – слава.

Добра горчичное зерно
И зла пылинку
В одном глазу и заодно
Узришь в обнимку.

С терновым лавровый венец
В одной посуде...
И сварят из тебя супец,
А не рассудят.

В тот день, когда вскипит Земля...
Аззальзаля!

Перевод Андрея Битова



Лоренс Блинов

Ночной тополь

поэма

*«Кто мог знать, волнуется он
или нет... сложная глубокая душа»*

И. Бунин «О Чехове»

1

...то умолкал он, слегка покачиваясь,
А то порой пламя какое-то
с ног до головы
внезапно окутывало его
сумеречно-белесоватой рябью,
и весь он словно светился изнутри
невыведанными своими тайнами,
и степь,
степь неоглядная
всякий раз оживала
и шелестела едва слышно
в каждом его затаённом вздохе.
Тихо и осторожно,
стараясь не спугнуть ни один блик,
входил я в этот воздух,
в эти серовато-замшелые сети,
это трепетанье,
надеясь уловить, высмотреть, понять:
как же это он слагает
свою прозрачную прозу —
нет, лучше сказать —
свои пронизанные серебристым мерцанием,
и струящиеся в глубину корней
стихи.
Я недоумевал:
откуда в нём,
таком, с виду стройном,
элегантном даже,
так много первобытных лишайников,
мха дремучего...
Откуда в нём эта паутина,

это серое висенье умаявшейся летучей мыши!
И ведь он будто бы понимает эти муки,
эту влажную вселенскую дрожь
затаившегося кокона,
а самое главное – тогда,
когда ветер! —
и как только ему удаётся
так преобразиться:
стать обыденным
и похожим неожиданно
на всех,
на всё окружающее,
и в этой пьесе своей
он так же буйствует,
так же ораторствует
в сумеречном своём запале,
и он столь же по-актёрски деятелен
и неприметен, как все.
Но – крылья!
Крылья у него, кажется, и тогда
будто вдвое больше, чем у всех прочих —
тех, кто подобно ему, всё же силится взлететь,
но, увлекаемый незримым ужасом
мгновенного небытия,
оказывается театрально изувеченной,
трафаретно изувеченной чайкой,
неестественным и отвратительно красивым узором
распластанной на мокром песке
декоративного побережья.

Но когда он начинает быть
уж совсем ни на кого не похожим,
и пробуждается изнутри
лёгкое полыхание и лепет —
это тогда,
когда ветра-то как раз и нет!
И луны нет.
(Но что-то всё-таки серебрит
и как-то слегка зажигает его седину.)
Тогда до меня долетает вдруг
этот тихий прохладный шёпот,
и я начинаю понимать:
«нет, это не пустяк —
листвы безлунной трепетанье,
и это трепетное таянье
тончайших бликов и...»

Но вот я,
стараясь быть ещё более неприметным,

чем его безлунная тень,
приблизился
к раскрытым страницам его повести,
и будто бы совсем случайно
взглянул туда,
куда он был устремлён
всей своей непреднамеренной листвой.

2

Ах, вот оно что! —
совсем невдалеке
через дорогу
робкое деревце
чуть выступало
из недвижимого пространства
ночного закулисья,
всё окутанное лимонным светом
весьма кстати оказавшегося рядом
фонаря.

С чуть приметной застенчивостью
(почти кустик,
только уж очень высокий)
стояла она,
стройная молодая липка,
вся прозрачная листвой
перед бархатной портьерой
безмолвного ночного театра,
стояла она,
единственная актриса
на той обнажённой сцене тротуара,
чуть покачиваясь,
совершенно, как и он иногда
(только ещё призрачнее и невесомее),
и вся излучала такую тишину,
такую щемящую свежесть,
недоступную банальным рукоплесканиям,
что и я ощутил,
почувствовал, что весь погружён
в эту тёмно-сиреневую маяту
тополиной страсти,
что руки мои покрываются уже
нежно-серебристой замшелостью,
слегка фосфоресцирующей в темноте,
что глаза, мои глаза —
уже не мои.

3

Я,
прежде не допускавший и мысли,
что за столом поэта
может быть какое-то и иное
освещение,
кроме лунного,
всегда презиравший
обнажённую мишуру торшеров
и полуночных фонарей
(свеча – и та смотрела на меня
с насмешливым подозрением),
Я
обнаружил здесь
каким-то внутренним зеркалом,
что начинаю видеть то же, что и он,

мой неуёмный серебристолистый воздыхатель,
что и дышу-то я
уже не своей листвой —
что это – он, он,
что я, так же, как и он,
весь окутанный тем же трепетаньем,
устремляюсь куда-то,
бормоча и пошатываясь;
и совершенно так же, что и он,
не понимаю уже —
как можно чего-то иного желать,
что-то иное видеть,
кроме этого одинокого фонаря,
этого ослепительного и бесстрастного
светового потока,
и такой нежной под ним,
зеленовато-прозрачной,
чистой
после вечернего дождя
молодой липки;
и что разве столь уж необходимо,
чтобы что-то ещё,
какие-то особые слова,
чтобы какой-то иной ветер,
какой-то ещё спектакль состоялся,
дабы выразить,
попытаться высветить то,
что невозможно,

чего не может быть,
потому что...
чего уже никогда...

Корни мои ощутили упругую свежесть
и полноту.
Лёгкое мерцающее покалывание
глубоко заструилось где-то внутри ствола
и охватило, поднявшись, вес ветви,
всю мою листву – целиком.

4

...А утром
он – вполне будничен, запылён,
сер и обветшал. И – боже! —
кажется, – в очках и с бородкой
(и с зонтиком – в виде трости);
и я едва узнаю его,
непроизвольно обернувшись.

Он вежливо и галантно
застывает в приветствии,
словно бы приподняв шляпу...

Но не говорит ни слова.



Галина Булатова

Небушко

Уже ноябрьски строга
Дорога между городами.
Гуляют по полю стога,
Припорошённые снегами.

Под взором туч отяжелев,
Бьёт в лобовые стёкла ветер,
Но кружевами ришелье
Встают берёзы на просвете.

О расставание, замри!
О время, выпростай объятья!
Два сердца у моей земли:
Одно – Казань, одно – Тольятти.

Мой неотъемлемый вокзал,
Чьи ожиданья несказанны...
Тысячелетняя Казань,
Ты знала дух прабабки Анны!

На старой карточке – она
И прадед Гольшев Василий.
Ах, жаль – другие имена
В том прошлом улицы носили.

И Рыбнорядской нет уже,
Где шли под ручку чинно двое,
И не разгуливать душе
Адмиралтейской слободою.

Лишь неизменный небосвод
Всё приближает перспективы —
И фото «Хлебниковъ» живёт
И «сохраняет негативы».

Каким-то чудом из былин
Жизнь возвращается по кругу.
И самый нежный исполин
Во тьме мою целует руку,

Рассеяв снов тревожный ряд
При неумолчном крике чаек... —

Там белокрылый Автоград
Души в мятежнице не чают...

Родные, как пройти пути —
Мучительные, родовые,
Где дробью перелётных птиц
Пронзает небушко навывлет?

«Хрупо синица тинькнет...»

* * *

Хрупо синица тинькнет
На волоске от дня.
Если рассвет утихнет,
Ты разбуди меня.
Лето свернулось в кокон
На годовой нощлег.
Синим квадратам окон
Снится из детства снег.

Горлица

Прибиралась в горнице,
Тихо щебеча,
Но таила горлица
В горлышке печаль.

Думушка былинная,
А работа – быль:
Сдула бы пылиночки —
Вытираю пыль.

Что по доскам босая —
Рана не страшна,
А саднит занозю
Горлинки душа.

Трепетная веточка,
Хрупкий стебелёк,
Если б только весточку
Ты подал, сынок.

Дедушка мой Булатов

Моему дедушке

Петру Степановичу Булатову

Память ценнее клада, если добро в судьбе...
Дедушка мой Булатов, вспомнилось о тебе.
Вглядываюсь в начало: кто-то скромней едва ль —
Долго в шкафу молчала страшной войны медаль.

Это и мой осколок – жизнью неизлечим.
...Сельский директор школы слову детей учил.
Светлой души, нестрогий – с лёгкостью я пойму
Тех, кто с других уроков тайно сбегал к нему.

Письма писал – от Бога, всяк ему бил челом:
Было не так уж много грамотных на село.
Добрая слава греет щедрого на Руси:
Что отдавал на время, то забывал спросить.

Ну же, баян, играй-ка вальсы амурских волн!
Старая балалайка, вспомни байкальский чёлн!
Дедушка мой Булатов, в камне – овал простой...
Правнук уже в солдатах, правнучка – под фатой...

Папе

С дрожью входило, стирая черты
Время у тела в больничной постели.
До голубого безмолвья светлели
Папины синие прежде глаза.

Кто-то чужой на разрыве дышал,
Хищно змеились лиловые трубки.
В окна листом (или сизой голубкой?)
Папина билась душа: «Отпусти...»

И, неизбежному дверь отворя,
Утру молилась Святая Татьяна.
Падал вчерашний листок покаянно
На ослепительно-траурный снег.

«Не напоказ – в себе свой храм ношу...»

* * *

Не напоказ – в себе свой храм ношу,
Но звон колоколов пронижет время.
Когда-нибудь счастливо напишу
Я лучшее своё стихотворенье.

Но сколько нам отмеряно годов
До бронзовой, ручной работы, точки?
Аукцион. Ваш лот уйти готов —
И зазвучат бесстрастно молоточки.

Ивану Данилову⁵

Да, мы любимся дерзкими,
которые здесь и сейчас,
которые с возраста детского
тянут на силача.
Отмеченные медалями
и звёздами всех мастей,
которые зажигали мы
от искры на бересте.
Но будет что на поверку,
когда отгорит, отойдёт
прекрасными фейерверками
украшенный небосвод?
Какою горькою пылью
осядут их имена
на творческом изобилье
во всякие времена?

Хоть я не из той породы —
мне ближе терпенья труд,
я знаю, славные годы
сами меня найдут.
Между любовью и болью,
где-то на склоне лет,
звёзды крупною солью
лягут на мой хлеб.

⁵ *Иван Данилов* (1941–2010) – из плеяды ярчайших казанских поэтов-шестидесятников.

«Со скрипом ломались перья...»

* * *

Со скрипом ломались перья,
Не в силах строке помочь.
Бунтующе хлопнул дверью
Ушедший в сырую ночь.

И свет золоточервонный
Ссыпала с него листва,
И тень человека в чёрном
Манила его из рва.

Босая, в излёте танца —
За суженым по струне.
Но хватит ли слёз остаться
В безумной его стране?

И пить на краю траншеи
С дождями на брудершафт?
Всё туже сжимает шею
Предательский алый шарф.

Легонько заря коснётся
Невольного палача, —
Любимое насмерть солнце
Зайдёт с твоего плеча.

Дорога в Казань

Дорога тянется туда,
Где хлыст могучих камских вод
У берегов своих пасёт
Холмов зелёные стада;
Где за рекою косогор —
Приволье ёлок и берёз,
И завораживает взор
Тясячелистник в полный рост;
Где в казане меж гор кипят
Закаты с привкусом надежд,
И невозможный взят рубеж
До неизбежного тебя;
И где, предвосхищая вздох
Восторга с грустью пополам,
Гуляют месяц со звездой
По бирюзовым куполам.

Елена Бурундуковская

«Прощальная краса. В окошки бьётся осень...»

* * *

Прощальная краса. В окошки бьётся осень.
Иди, её встречай, запутайся, робей.
Пока ещё сквозь сон. Очнёшься ровно в восемь.
И партия сдана с будильником в борьбе.
Иди сводить мосты и подводить под схемы.
Всё рушить и губить. И пестовать опять.
Вести потерям счёт. И думать, что мы, где мы.
И в хляби ноября разверстые ступать.
Не нравится – не пей отравную микстуру.
Несолоно хлебай протёртый супчик дня.
Всё кончено. Прошло. А вдруг, и вправду, сдуру,
Ещё последний взор, последний сноп огня.
Пожаром озарит поблёкшую округу,
Раздразнит, распалит опять из озорства...
Невыспавшийся кот пророчит боль и вьюгу.
Крадётся по пятам бездомная листва.

«Под птичьих крыльев хлопотанье...»

* * *

Под птичьих крыльев хлопотанье,
Ночей и дней круговорот.
Нас лето обложило данью
И одарило от щедрот.
То банным жаром оглоушит,
Шутя сгоняя семь потов,
То поразит вселенской сушью,
То сымитирует потоп.
Но ветра шёлковое платье
Тебя обнимет всей душой,
И в этих трепетных объятьях
Так несказанно хорошо,
Что забываешься от счастья
И просыпаешься, себя
Пусть малой ощущая частью
Страны, где крыльями слепя,
Стрекозы тучные сигают
И забывают, как сигать.
И время смотрит не мигая
На всю земную благодать.
Где муравьи, собравшись скопом,
Слагают коммунальный дом,
И лягушачьи перископы
Стоят в затоне золотом.

«Студентка знает то, что ничего не знает...»

* * *

Студентка знает то, что ничего не знает,
В автобусе вися, вздыхая на ходу.
Июнь грозит грозой, и крутится резная
Ретивая листва. И в городском саду
Тусовка до утра. Покрашены скамейки.
И треки соловья, и ролики зарниц.
А хлопоты пусты, а неудачи мелки,
Пока гремит гроза, и юность без границ.
Транжирь её, транжирь налево и направо,
В общаге жития не ведая преград.
Пока ещё сладка чернильная отрава,
И манною с небес – невыспавшийся град.

«Наблюдая над жизнью, которая, в общем, прошла...»

* * *

Наблюдая над жизнью, которая, в общем, прошла
как у всех, а не так, как когда-то мечталось,
я скажу «так какого же надо рожна!»,
подавляя к себе бесполезную жалость.
Нет, не принца на белом, не замков на зыбком песке,
а чего-то хотелось – теперь и не вспомнить.
Что ж ты, солнце моё, всё пытаешься что-то успеть,
отыскать на просторах прокрустовых комнат,
если в заднем кармане Вселенной сплошная дыра,
прошлогодного чёрного снега бесценней,
и последнюю душу заблудшую сплывили в рай,
и последнюю свечку задули на сцене.

«Ничего не вечно под луной...»

* * *

Ничего не вечно под луной.
Ничего. Но правды нет и выше.
Полоумный дождик проливной
С маху расшибается об крыши.
Складывает крылья мотылёк —
Некому раскочегарить пламя.
Спит земля, уставясь в потолок
Противоположными полами.
Дремлет улыбающийся сад,
Струями простроченный косыми,
Как вчера, как сотни лет назад.
Как в те дни, которым вечность имя.

«Расскажи-ка мне, девочка в галстучке шёлково-красном...»

* * *

Расскажи-ка мне, девочка в галстучке шёлково-красном,
Про советское детство моё, если в ту глухомань
Ещё тропы ведут. Как мечтали светло и напрасно,
В пионерских бараках взхлёб набираясь ума.
Нас учили всему понемногу, всерьёз и о главном.
Начиналась о Родине песня сегодня и здесь.
И дымок орудийный из воздуха прошлого плавал.
И «Зарниц» полыхали зарницы на небе чудес.
Школа правила перья, корнала вихры под гребёнку,
Любопытства порок разбавляя с грехом пополам.
И сидела зараза ненашенских сказок в печёнках,
И носил её ветер уже по горам, по долам.
Кровь бросалась в лицо, отзываясь морозом по коже.
Время шло на двоих, становясь равнодушной и злей.
Голенастая девочка, ты на меня не похожа.
Никогда, никогда, никогда, никогда не взрослей.

«Колыбельную песню надышит простуженным горлом...»

* * *

Колыбельную песню надышит простуженным горлом
Пенопластовым снегом укрытый по плечи январь,
И останется каждый в своём одиночестве гордом
Допивать бытия приворотный отвар.
С неизбывной любовью и нежностью необоримой,
Подставляя под крупные звёзды лицо,
Обращаться на «вы» к равнодушной равнине,
Где забыли давно и не ждут беглецов.
Где снега и снега и молчанье, молчанье навеки,
И поспешных желаний несбывшийся сонм,
Где всё лучшее спит вечным сном в человеке,
И реальнее жизни прерывистый сон...

«Как ласточкина тень, метнётся взрослый воздух...»

* * *

Как ласточкина тень, метнётся взрослый воздух,
Молекулы смешав любви и нелюбви,
Настоянный на снах, на полуночных звёздах,
Замеченный везде... Лови его, лови!
Репейник, чистотел и что-то без названья...
Блаженный воздух дней, встающих на крыло.
Как бабочки тогда, капустницы, сновали!
Румянилось небес застенчивых стекло.
Придумай свой расклад, скрой фасон бедовый,
Пометки на листках узорчатых прочти,
Пока на вкус, на цвет, на выдох уготован
Unreal truly world, Неведомый почти!

«В природе проще нет картины...»

* * *

В природе проще нет картины:
Берёзки, кочки, озерцо,
Где рыбаки таскают тину
И ветру отдают лицо,
Где сызмальства владеет каждый
Общепонятным языком.
И солнце утоляет жажду
Прохладным неба молоком.
И день, по-своему счастливый,
Идёт в зенит, не торопясь,
И лиловеют жарко сливы
В садах, готовые упасть.
И смотрит радостно создатель
На своего труда плоды.
Единовременный ваятель
Земли и неба, и воды.
Он смотрит, смотрит ниоткуда,
Щеку ладонью подперев,
Как бережной туман окутал
Строеня дружные дерев.

«Босыми ногами по тёплой песчаной земле...»

* * *

Босыми ногами по тёплой песчаной земле,
Травинка в зубах и на сердце приятная лёгкость.
Возделывать сад и ребёнка растить не во зле,
И чувствовать рядом заботливый локоть.
Как всё изменяется в мире, но так неизменно вокруг.
Крапива с малиной в обнимку живут, не стесняясь.
Опять повторяется жизни растительный круг,
На месте цветка образуется завязь.
Всего лишь звено в бесконечной цепи перемен,
Травинка в зубах и на сердце приятная лёгкость.
И я ничего не прошу этой жизни взамен.
Она уже там, ещё там, за горами, далёко...

Борис Вайнер

Из жизни ангелов

* * *

Нет у ангела пола,
А ещё – потолка.
Только крылья и голос,
Слышный издалека.

Ангел крыльями машет,
За собой нас зовёт;
О, как птенчик отважен,
Что решился на взлёт,

А узнал и паденье —
Потому что всегда
Двуедино движенье,
Двуполярна звезда,

И неявно решенье,
И туманна тропа
Между сенью и тенью,
Между пан и пропал,

Между ликом и лихом,
В непролазной тщете,
Где ни в озере тихом,
Ни в звенящем дожде

Ни живую, ни мёртвой
Не бывает вода,
Где ни бога, ни чёрта,
А верней – ни черта.

* * *

На улице, тихой и влажной
От двухчасового дождя,
Я ангела встретил однажды,
Пустынной тропой проходя.

Хотя одному только небу
И ведомо, кто ему свой...
Но если он ангелом не был,
То клеткою был стволовой —
Невидной, неслышной, начальной,
Эфирной на вечных весах.
И космос мерцал инфернальный
В его родниковых глазах,
Как словотворящая бездна
За краткой строкою Басё:
Ещё ничего не известно,
Уже предначертано всё.
И тучкой смятенье парило
Над детской его головой:
В незнаемый край уходил он
Неверной дорогой земной,
С надеждою хрупкой на милость
Своей отдаваясь судьбе...
И светом нездешним светилась
Жемчужинка в нижней губе.

Старый трамвай

Глаза пустынные стеклянные,
Зубовный скрежет, звон и лязг —
Каких судеб обетованное,
Каких любовей, войн и дрязг?

Какую жизнь (смешную? горькую?),
Как тень рябая по лицу,
Своими пробежал задворками
Он по железному кольцу?

Куда домчать ему мерещилось,
Что этот выбрал он маршрут?
Зачем он в сны не верил вещи
О том, что рельсы уберут?

Как тело брэнное трамвайное
Из зноя вынес и дождя
И неужели – знанье тайное
Хранит, из круга выходя?

Половник

Г. Г. Маркесу посвящается

Никто Половнику не пишет
И не заходит просто так.
А для залётных пары мышек
Не друг Половник и не враг.

А что хозяйка? Что хозяйка...
Она хозяйка, да не здесь.
А где хозяин? Угадай-ка:
Всё колобродит где невесть.

А где девчонка? Счастья ищет
Который год в чужой стране.
А где мальчонка? В поле свищет,
Не дозовёшься по весне.

А где старушка? А старушки
Как увезли – с тех пор и нет.
А жучка с муркой? А подружки
За бабкой следом – и привет.

Никто Половнику не пишет.
Он думу думает свою:
Пойду-ка, думает, для мышек
Водицы в блюдечко налью...

Ремейк

...Волшебна ли, обыкновенна
Или ни два, ни полтора —
Она по сути неизменна,
Как кошки с мышкою игра.

Из вдохов, выдохов и вздохов
Она что в этот миг, что в тот,
Что в отзвучавшую эпоху,
Где с марта начинался год

Строкой-другой мартиролога,
Апрель цедил то прель, то сок,
Май в синей майке у порога
Качался с пятки на носок,

Июнь вьюнковый, тополиный,
Спешил одеться от-кутюр,
Юлил в листве июль шмелиный,
Был август густ, как конфитюр.

Сентябрь сентенциями сыпал,
Октябрь октавами бренчал,
Ноябрь брёл на пару с гриппом,
Декабрь капризы привечал —

И шёл, не враг и не товарищ,
На коду кругооборот,
Где каши с январём не сварить
И не моргнув февраль соврёт.

Ворон

Слева облачка свеченье,
Справа листики «шу-шу» —
Я бежал из заключения,
Я на лавочке сижу.

Мне не спится, не поётся,
Я сегодня сам не свой,
Оттого, видать, и вьётся
Чёрный ворон надо мной:

Взор грознее пистолета
(Чистый опер из угро),
Отливает фиолетом
Воронёное перо —

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Где он только не цыганил,
С кем знакомства не водил,

Над отверстою могилой
Nevermore не пел кому...
И зачем, скажи на милость,
Тихий лавочник ему?

Я невиден и приватен,
На двери моей – засов.
Не ищу на солнце пятен,
Не вздымаю парусов.

Что в природе происходит —
Всё давно предрешено.
Что ни день светило всходит,
Что ни ночь темным-темно,

Все при деле: орки воют,
Шелкопряды тянут нить,
Туча мглою небо кроет —
Верно, нечем больше крыть,

Коноплю растит ботаник,
Детский сад ушёл в загул,
Из болота всплыл «Титаник»,
В речке «Боинг» затонул,

На базаре пошукали —
Безголового нашли,
Пока голову искали,
Ноги встали и ушли;

Вот и я пойду, пожалуй,
С толстой сумкой на ремне.
Променяю гнев на жалость:
Много жалости во мне.

Мурку жалко, жучку жалко,
Жалко трезвых и хмельных,
И училку-бормоталку,
И здоровых, и больных,

Жалко ближних, жалко дальних,
Жалко свет и полусвет,
Жалко бабочек вокзальных,
А себя – уже и нет.

Не увенчан, не увинчен —
Человек как человек.
У меня на ужин нынче
Чудо-юдо рыба хек.

Выйдет месяц из тумана,
Глянет в окна к рыбаку,
Даль старинного романа
Перемелется в муку,

А с утра поспеет тесто
Для руки и для огня...
Это время с этим местом
Не сойдутся без меня.

Ты не вейся, птица ворон,
Над моею головой,
Не надейся, птица хоррор:
Я не свой – но я не твой.

Разиль Валеев

«Плача и скорбя, искал свободы...»

*На моё могучее дыханье
Отзовутся небо и земля.*

Х. Такташ

* * *

Плача и скорбя, искал свободы
Светлый разум.
Не нашёл. Но пусть...
Или мир я изменю сегодня,
Или сам сегодня изменюсь.

Не поймут, когда скажу, что ветер —
Голубой, а время – сабантуй.
Имена всему свои на свете
Дам я, понимая красоту.

Всем цветам я дам свои названья.
За день я воскресну и умру...
Но и в миг последнего дыханья
Чёрным белое не назову.

Воспою товарищество строгое.
Жить на свете – нет прекрасней слов!
После долгих, тяжких дней дороги
К нам в сердца является любовь.

Я могу обман принять за правду,
Да, бывает, что там говорить...
Мне тепла и света много надо.
Может, я наивен, может быть...

От несправедливости свободен,
Перед красотой преклонюсь.
Или мир я изменю сегодня,
Или сам сегодня изменюсь...

«Я жизнь свою ещё не начинал...»

* * *

Я жизнь свою ещё не начинал
Ни делом настоящим и ни словом.
И бьётся сердце мамино в груди,
Да и рубашка на плечах отцова.

Свою я чашу горя не испил,
Не знаю цену счастью и покою,
Как будто продолжаю брата жизнь.
Она была короткою такою.

Я весь – как будто прошлых дней завет:
Иду простором, что открылся деду,
И, одолев очередной подъём,
Я торжествую дедову победу.

Дожди времён, ветра веков во мне
Шумят, гудят неистребимой болью.
Пою ещё я не свои стихи,
А те, что до меня не спеты были.

Молодость

На этом корабле без якорей
Одно желанье у его матросов:
Свирепый шторм пусть налетит скорей,
Чем к берегу теченьем их отбросит!

Мой день

Кто друг мне, кто недруг – порою не знаю.
И в том огорчения нет.
Я вечером старцем седым засыпаю,
младенцем встречаю рассвет.
Чтоб вечером доброй сложилась песня,
чтоб светлыми были слова,
я каждое утро гляжу в поднебесье —
и входит в глаза синева.
Чтоб чёрствостью рук не обидеть знакомых
во время приветствия вдруг,
иду к роднику я с рассветом из дома —
и чёрствость снимает серебряный друг.
Иду поутру от порога родного,
и птаха взлетает, звеня,
и мир, каждый раз молодеющий снова,
встречает улыбкой меня.
Я сын молодого родимого края,
сегодня мне всё по плечу.
Кто друг мне, кто недруг – пока что не знаю,
а может, и знать не хочу.
Нет в сердце обиды и зависти нету,
лишь солнце ликует в душе!
Четыре прекрасные стороны света
раскрыли объятия уже!
Но вот надвигается туча тревожно,
и гнётся под ветром лоза...
Природе спокойною быть невозможно,
коль в небе грохочет гроза.
Я падаю ниц от громового звука,
Вселенную и небо кляня...
Мне враг подаёт ненадёжную руку
и тянет с дороги меня.
Наверно, я долго б с испугу проплакал,
не видя ни зги впереди.
Но друг подаёт разгоревшийся факел:
– Ты видишь дорогу? Иди!
Закат догорает. Закату – я знаю —
Ворота пора закрывать.
Избитый, уставший, я всё ж успеваю
в ворота заката вбежать.
...Глаза в тишине перед сном закрываю
Я в жаре, я брежу, горю...
Я вечером старцем седым засыпаю,
Младенцем встречаю зарю.

Чётки

Памяти бабушки

Твой ясный образ ясно, чётко
Запечатлён в моей судьбе.
Отполированные чётки
Напоминают о тебе...

Твой сын шахтёр,
в земле глубокой
И днём и ночью соль рубил.
Из фиников, плодов Востока,
Тебе он чётки смастерил.

Перебирая чётки эти,
Молила бога ты всегда,
Чтобы канат у шахтной клетки
Не оборвался никогда.

Случались дни крутых событий...
И, силясь одолеть беду,
В твоих руках по тонкой нити
Метались чётки, как в бреду.

Они ль спасли отца-солдата
В огне войны?
Конечно, нет.
Но каждая лихая дата
На чётках оставляла след.

Минули годы торопливо...
Я не забуду ничего.
Отцом посаженная ива
Склоняет ветви молчаливо
У изголовья твоего...

Горит огонь в старинной печи,
Не нарушая в доме тишь.
И ты со мной заводишь речи,
Под шёпот чёток говоришь:

«Сруби свой дом.
Пусть сын родится.
Пусть радость вселится в твой дом.
А если умереть случится —
То в день, заполненный трудом...»

Прости меня:
я хлеб не сею,
Не добываю в шахте соль.
Я песни лишь слагать умею,
И то – когда подступит боль.

И эти песни, словно чётки,
Напоминают о тебе.
Твой светлый образ ясно, чётко
Запечатлён в моей судьбе.

Дороги

Леса, родники и дороги
В привольном родимом краю!
Как много, однако, как много
Вмещается в душу мою!

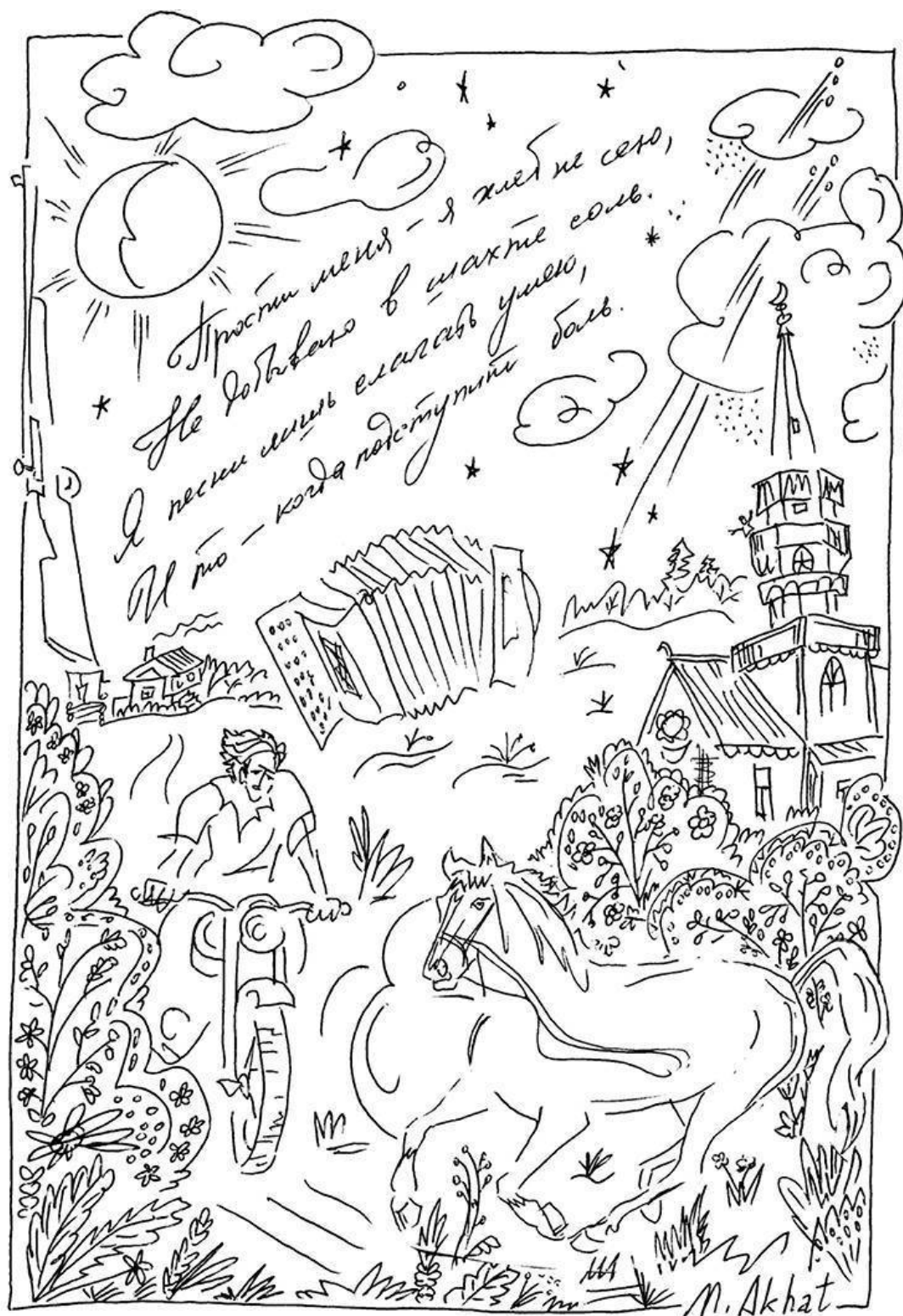
Хоть я и не лезу в пророки,
Родные люблю берега.
Мир вам, родники и дороги,
Леса, небеса и луга!

Быть может, умру я до срока.
Не плачьте по мне, соловьи,
Ведь лес и родник, и дорога
Вливаются в песни мои.

Перевод с татарского Д. Даминова

Поднимешься на минарет, станешь ближе к Всевышнему

В начальных классах мы учились в здании бывшей мечети. Хотя эта деревянная мечеть была построена ещё в 1921 году, она не скособочилась, не обветшала, лишь минарет её, будто сетуя на свою судьбу, протяжно стонал, когда задували ветра и вьюги. Как священна и дорога для всех татар башня Сююмбике, так же священна и дорога для моих односельчан была наша мечеть со своим стойким минаретом. До сих пор для меня остаётся большой загадкой, просто волшебством: как же смогли возвести эту мечеть односельчане в голодный двадцать первый год? Пожалуй, не найти человека, который, побывав у нас в деревне, не zalюбовался бы её утончённостью, строительной завершенностью, архитектурным совершенством. Откуда взялось такое мастерство у наших деревенских строителей, у которых не было никакого специального архитектурного образования?! Сегодня мечети строят почти в каждой деревне. Но не всегда они соответствуют требованиям гармонии. Минареты порой коротки и толсты или, наоборот, длинны и тонки, как заводские трубы. Из-за отсутствия у строителей чувства пропорции, меры, просто-напросто таланта, профессионального мастерства деньги, собранные народом по крохам на строительство своего священного сооружения, нередко тратятся на возведение безвкусицы. Нашей деревне повезло, её мечеть явилась прекрасным примером архитектурного совершенства и вошла в список исторических памятников, охраняемых государством.



Когда я начал учиться в школе, у меня была мечта – подняться под самую вершину минарета мечети и окинуть оттуда взглядом окрестности родной деревни. Минарет нашей мечети состоял из двух ярусов. До верхнего яруса можно было подняться по внутренней винтовой лестнице. Но это лишь две трети башни. В той части, где минарет заострялся, принимал конусообразную форму, и на пике его красовался серебристый полумесяц, не было никакой лестницы. На самой вершине его оставлено было слуховое окошечко размером с голову взрослого человека, куда порой залетали голуби. Вот в это окошечко я и хотел поглядеть.

Однажды я спросил у матери: зачем нужен мечети минарет? Она ответила: «Чтобы муэдзин с высоты его призывал людей к молитве, сынок. И потом... Когда поднимаешься на минарет, вся деревня видна. А главное, с минарета и взгляд бескраен, и голос безбрежен, и к Аллаху становишься ближе». Эти слова матери остались в моей душе на всю жизнь. Казалось, если я взберусь на минарет и посмотрю с него, просунув голову в слуховое окошечко, то увижу не только соседние деревни, Казань и Москву, но и весь мир, даже самого Всевышнего.

Всё-таки я осуществил свою мечту – поднялся под самую вершину минарета, когда учился в четвёртом классе. Неистово карабкался я на верхотуру, ломая подгнившие доски под кровельным железом, раздирая в кровь руки и ноги. Когда, просунув голову в слуховое окошко, посмотрел вокруг, то был поражён распахнувшейся передо мной неохватной панорамой. То ли оттого, что минарет легонько покачивался, то ли ещё из-за чего-то, но мне вдруг сделалось не по себе, взгляд затуманился, всё передо мною поплыло... Точно Аллах осерчал на меня за то, что я без всякого разрешения вторгся в его владения, и поэтому воздействовал на моё сознание. Известное дело, такое заключение я сделал значительно позже, когда уже подрос. В памяти после победного восшествия только и осталось, как я поспешно спускался с минарета.

После окончания в своей деревне Ташлык начальной школы, в соседней деревне Шингальчи – восьмилетней, в Нижнекамске – средней я направился учиться сначала в Казань, затем – в Москву. Когда возвращался в свою закамскую деревню, всегда первым встречал меня родной минарет нашей мечети. Но он старел и с каждым годом всё больше и больше клонился в сторону. В один из приездов я увидел, что ветер сорвал с него кровельное железо, и полумесяц завалился набок, готовый вот-вот упасть. Было это в то время, когда вышла моя новая книга, и я получил небольшой гонорар. Осенью 1979 года я пригласил из Казани ребят-реставраторов, и мы стали ремонтировать минарет мечети. Конечно, моего гонорара было недостаточно. Протянул руку помощи друг юности Рифкат Муллин, работавший тогда заведующим районным отделом образования. По мере возможности помогали и односельчане. Таким образом, сообща и починили минарет. Особенно памятным был день установки на нём сверкающего на солнце полумесяца. Народ собрался со всех окрестных деревень, все подбадривали нас, и это придавало нам энергии и чувства значительности события. Правда, событие это не все оценили одинаково. По приезде в Казань меня вызвали сначала в обком комсомола, затем – в обком партии и как следует поддали за идеологический проступок и сделали вывод, что я не соответствую своей должности ответственного секретаря в журнале «Ялкын» («Пламя»).

– Как ты можешь воспитывать детей в духе строителей коммунизма, когда у тебя у самого в голове творится неизвестно что – взялся вот восстанавливать религиозные храмы!..

Я тоже не лыком шит, отвечаю:

– В мечети расположена школа. Кто будет отвечать, если минарет рухнет на детей?

Оппонентам моим такой поворот был так неожидан, что они сразу не нашлись, что ответить. Конфликт идеологий был на время исчерпан.

Но как мы ни старались со своими ремонтными работами, время было неумолимо и делало своё дело. Деревянное здание потихоньку ветшало и пришло-таки в негодное состояние. Ничего не оставалось делать, как разобрать его. Предварительно мы сняли с нашего родного храма все размеры, подвергли всё сооружение снаружи и изнутри тщательной фотосъёмке с тем, чтобы возродить мечеть в первоначальном виде, только в каменном исполнении. Зачинателем этого дела был мой младший брат. По профессии строитель, по должности – прораб. Вопросы финансирования, поиска спонсоров, я взял на себя, помогли, конечно, и односельчане-предприниматели, и кто как мог.

Сегодня мечеть нашей деревни со своим стройным красавцем-минаретом виднеется за десятки километров. Каждый раз, возвращаясь в родительский дом и выходя из лесу, я первым делом бросаю взгляд на белеющий вдали минарет моей мечети, точно это какой-то путеводный

и спасительный маяк моей жизни. Без этой мечети я не представляю себе родной деревни, я и сам себя не представляю на земле без неё.

И сегодня перед глазами стоят леса, поля, окрестные деревни, небеса, полные белых облаков, весь мир, который я впервые увидел с высоты минарета нашей мечети. И сегодня звучат в моих ушах слова матери: «Поднимешься на минарет, станешь ближе к Аллаху».

Остановите меня!

Несколько лет кряду покрутив велосипедные колёса, захотелось мне сесть за руль мотоцикла. Когда я учился в шестом классе, один из братьев матери Раиф-абый приехал домой на купленном с рук мотоцикле. Одноместный, с металлическим не то багажником, не то всё-таки сиденьем сзади, мотоцикл этот односельчане почему-то прозвали «козлом». Предыдущий хозяин порядочно заездил его по бездорожью, ладно, что Раиф-абый был человеком, что называется, с золотыми руками – и часы ремонтировал, и дома строил, и в кузне металлические изделия мастерил, даже гармошки ладил, вот теперь и мотоциклом занялся. Я всю дорогу крутился возле него – то гаечный ключ подам, то отвёртку, когда он ремонтировал своего стального друга, а ремонтировал он больше, чем катался.

За «помощь» мою Раиф-абый сажал меня на заднее сидение или на бак и катал по улицам деревни. А у меня была мечта – получить разрешение самому сесть за руль. Разрешения всё не было и не было. А ведь мальчишке казалось: что особенного водить мотоцикл, когда уже который год гонял на велосипеде с ветерком!

Однажды Раиф-абый ушёл в соседнюю деревню на шабашку – строить дом, а «козла» своего оставил во дворе. Я зашёл к дедушке, где жил Раиф-абый, уже в который раз, а мотоцикл как стоял, так и стоит себе спокойно, будто дожидаясь меня. Ходил-ходил вокруг кругами, и терпению моему пришёл конец. Я оседлал механического скакуна, взялся за руль, стал ломать рычажок кик-стартера – «козёл» не заводился. Тогда я вывел его за ворота на дорогу и принялся по наклонной толкать. Когда мотоцикл зачихал и вдруг издал живой рык, обдав меня выхлопным газом, я вскочил в седло и поехал, поднимая за собой густую стену пыли. Исколесив немало просёлочной дороги, я решил прокатиться по улицам деревни, чтобы видели меня деревенские девчонки и мальчишки. Когда приблизился к мосту через пруд, испугался – навстречу топала лошадь, запряжённая в телегу и преградившая путь на мост. Что делать? Позабыв про тормоза, я повернул руль в сторону, и мотоцикл вместе с седоком полетел в воду.

Сельчане мотоцикл спасли – достали из пруда баграми. Меня спасать не надо было, я ещё на отмели спрыгнул с непослушного скакуна.

После этого Раиф-абый долгое время даже близко не подпускал своего «помощника» к мотоциклу. А в год окончания десятого класса (мы учились одиннадцать лет) он взял меня на свою шабашку – дом поднимать, я там нормально заработал и на эти деньги купил себе подержанный мотоцикл «Иж-Планета», который преподнёс нам не менее забавную историю, чем дядькин «козёл».

Мотоцикл мой стоял всегда или в сарае, или под открытым небом во дворе. Кроме меня никто за руль его не садился. Отец к мотоциклу интереса не проявлял, младший брат Рамзиль был ещё мал – десятилетний малыш водить мотоцикл не мог. Но я заблуждался. К несчастью, мой младший брат был похож на меня. В один прекрасный день он вместе с друзьями выкатил двухколёсную машину на улицу и сел за руль. После того, как ребята немного разогнали её, моя «Иж-Планета» завелась, и Рамзиль, имевший немалый велосипедный опыт, уверенно повёл мотоцикл из деревни на просторы полевых дорог. Изрядно покочесив там, он вернулся в деревню, доехал до нашего дома, но конь у своей конюшни останавливаться отказался. Он, как и я в младенчестве, умел только газовать и рулить. Тормоза были не в его компетенции. Таким образом, он проехал круговую по улицам деревни раз, другой, третий, но так и не мог остановиться. Когда я, услышав шум-гам на улице, выбежал из дому, он, оставляя за собой густой мотоциклетный дым, вовсю мчался и орал: «Не могу остановиться, остановите меня!» Мы стояли в растерянности, не зная, что делать. Чем бы всё это завершилось, если бы не кончился бензин и мотоцикл сам собою не остановился.

Я больно-то не ругал братишку, сам ведь в детстве сотворил подобное. Повзрослев немного, он стал управлять мотоциклом лучше меня. А когда начал работать, перво-наперво купил себе механического скакуна.

Как я стал охотником

Рассказывали, что наши деды со стороны отца были охотниками. Услышав это, я тоже захотел быть охотником и пойти на настоящую охоту. Но охотнику нужны были орудия труда – ружьё или на худой конец какие-нибудь силки. Откуда их взять? Силки-капканы меня не интересовали, надо было раздобыть ружьё, без него охотник – не охотник. О покупке ружья в магазине и мечтать не приходилось – откуда на него деньги, да и кто тебе продаст без особого разрешения!

Но, как говорится, на ловца и зверь бежит. Однажды копаюсь на чердаке бани и вдруг под хламом обнаруживаю ружьё, настоящее, точнее, винтовку системы Бердана, только основательно проржавевшую. «Эта берданка ни к чему не пригодна», – только и махнул рукой дед. А я с присущим мне упрямством приступил к осуществлению своей мечты. Сначала разобрал ружьё (буду уж винтовку так называть), потом несколько дней держал его в тазике с керосином. Потом очистил песком от ржавчины, аккуратно протёр промасленной тряпкой, вместо сломанной пружинки поставил другую... После таких восстановительных процедур ржавая берданка приобрела вид действующего стрелкового оружия. Теперь нужны были боеприпасы. В дедушкином ящике с инструментами нашёл пять пустых патронов, начинил их серой от спичек, вместо дроби насыпал металлической крошки... Но как ни старался, моё ружьё не стреляло. После всего этого злые языки деревенских мальчишек прозвали меня «Охотник Разиль». В своей жизни я и по воробьям не стрелял, и мне было до того обидно слышать это прозвище, что порою я был готов сквозь землю провалиться. Скоро из прозвища выпало слово «Разиль», и я превратился в исключительно «Охотника». Переживая и думая, как избавиться от уничижительной клички, я ночи напролёт не спал.

Несколько раз в месяц отец ездил в тогдашний райцентр Шереметьево на райкомовские собрания. Из одной такой поездки он привёз большого белоснежного кролика – на базаре там купил. В нашем хлеву мы соорудили для косоного что-то наподобие домика. Несмотря на то, что мы, можно сказать, денно и ночью ухаживали за ним, давали ему самые свежие овощи, наш кролик захандрил, перестал есть – не то к новому месту не мог привыкнуть, не то от прежних хозяев отвыкнуть... Однажды захожу в хлев проведать его, а он уже околел, лежит как камень.

Что делать? Мама сказала: «Надо похоронить его где-нибудь на опушке леса». В тот же день понёс его я в лес. Зима, метель, из лесу нет-нет да и волчий вой ночами до села доносится. На всякий случай повесил на плечо декоративную свою берданку. Говорят же: «Глупый волк и холостого ружья боится». У леса повстречался мне наш сосед Галиулла-абый. В лес ходил он, оказывается, на заготовку дров. «О-го! – говорит, – крупного зайца подстрелил, не зря, значит, называют тебя охотником». Не зная, что ответить, лишь кисло улыбнулся я. Через некоторое время на лесной дороге встретил ещё одного человека – сборщика яиц, жителя другой улицы нашего села Хасана по прозвищу «Елтырь» – шустрый, значит. Мать про него говорила: «Ему на язык чёрт плюнул» – такой он был болтливый и язвительный. Завидев ружьё и мою «добычу», тоже заахал и заохал.

На другое утро я проснулся настоящим охотником. Весть о том, что я подстрелил крупного зайца, мгновенно разошлась по всей деревне. Теперь при встрече меня стали опять называть «Охотник Разиль». Но уже без издевательских ноток, а с нескрываемым уважением. Скоро об этой кроличьей истории я позабыл и ружьё закинул на чердак, и мечта стать охотником незаметно испарилась. Вскоре и из прозвища опять выпало одно слово. На этот раз – «охотник». И остался я просто Разилем, с именем, которое дали мне родители.

Конокрады

Когда приходится с кем-то из соплеменников знакомиться и надо о себе что-то сказать, то говорю коротко: «Мы с Алмазом Хамзиным из одной деревни». Алмаз – человек известный и талантливый. Он – прекрасный музыкант, певец, поэт, мастер художественного слова, нет в нашем татарском мире человека, который не знал бы его. Потом, по мере необходимости, я начинаю рассказывать о том, как мы в течение одиннадцати учебных лет сидели за одной партой, как пели вместе, давали концерты, как, соревнуясь друг с другом, писали стихи. Мои новые знакомые начинают смотреть на меня восхищённо-расширенными глазами. Вот что значит иметь знаменитого друга!

О нашей с Алмазом непростой и полной приключений жизни в прошлом можно написать целую повесть. Но, оставив это на будущее, расскажу пока лишь одну историю из нашего отчества.

Мой отец, как я уже говорил, был председателем колхоза, а отец Алмаза – секретарём парткома. Они всю жизнь прожили в постоянном общении и были опорой друг другу. Отец моего друга Наиль-абый вернулся с войны, потеряв ногу. Когда он шествовал по улице, то скрип его протеза летел далеко впереди него. К людям, вернувшимся с войны, особенно увечным фронтовикам, отношение у меня было особое. Я наделял их бескрайними героическими качествами, коих, может быть, судьба в представляемой мной мере далеко не всех наградила. Мне ещё казалось, что у каждого фронтовика обязательно в доме хранится автомат или пистолет.

Наиль-абый много сделал для меня вместе со своим сыном. Я должник перед ним и живу с благодарной к нему памятью. Когда мы с Алмазом окончили восемь классов, то решили продолжить учёбу в средней школе села Кызыл-Чапчак (Красная Кадка), находившегося за рекой Зай, и сдали туда свои документы. Наиль-абый тем временем узнал, что в Нижнекамске открывается новая школа, и перевёл наши документы туда. Эта школа в нашей с Алмазом жизни сыграла огромную роль. Но я, кажется, обещал рассказать одну историю...

Так вот, учимся мы с Алмазом в Нижнекамске, живём в интернате села Актюба, которое вплотную прилегает к городу. Каждую субботу уезжаем в родную деревню, каждый понедельник утром возвращаемся в интернат или напрямую в школу.

Мы с ним почти уже парни. Такая пора, что наши носы, как говорится, начали чухать красавиц. Как в пословице «Соседская курица кажется индейкой», так девушки соседней деревни нам казались все, как на подбор, принцессами. Деревню Шингальчи, что совсем под боком, мы и соседней-то не считали. Каждое воскресенье мы топали в деревню Иштерьяково, находившуюся за восемь километров от нашей, за лесом. Кстати, оттуда родом были и наш близкий друг Рифкат, и наша первая учительница, мать Алмаза – Разия-апа. Каждое воскресенье, как на работу, пешком за восемь зимних километров, туда и обратно... А что делать?! Красота тамошних девушек того стоила. Пошагав так пешочком несколько выходных дней, мы призадумались... От походов к красавицам не откажешься, но и ноги наши были не казёнными. Думали-думали и придумали. Мой отец с раннего утра запрягает жеребца по кличке «Глупый», который всегда мчался, не помня себя (оттого и прозвали так); запрягает и уезжает по своим делам, а вечером, усталый, возвращается домой. Обычно я встречал отца и отводил Глупого в конюшню на другой конец деревни. И в этот раз, как только отец слез с саней, я принял жеребца с санями и вместо конюшни укатил на нижнюю улицу, где у своих ворот поджидал меня по договорённости Алмаз со своим баяном под мышкой. В вечерних сумерках никто на нас не обратил никакого внимания. Я огрел Глупого вожжами, и он превратился в крылатого коня. Он мог лететь без передышки, пока окончательно не покроется густой белой пеной. На то он и Глупый.

Жеребца распрягли и оставили в Иштерякове у родственников Алмаза во дворе. Зашли к другу Рифкату и пошли все вместе в клуб. Там пели, танцевали, веселились, пока народ не разошёлся. Потом прошлись по белоснежным деревенским улицам, провожая девушек. От холода чуть ли не в сосульки превратились, но вида не подавали, поскольку не мальчишки мы какие-то, а парни из деревни Ташлык, что в переводе означает «каменистая». Каменные мы ребята, значит, крепкие, приехали сюда на благородной кошёвке, запряжённой в горячего скакуна. Конечно же, о том, что жеребца мы взяли самовольно, украли, практически, – молчок.

К полуночи и в каменные сердца наши стала вкрадываться тревога. Ведь надо ещё через лес до дома добраться, распрячь жеребца. Отцу же в пять утра на нём на работу. До этого Глупому и отдохнуть надо, поесть и чтобы пот успел просохнуть. С этими мыслями зашли к родственникам Алмаза во двор, а жеребца там, как и не было. Сани на месте, а коняги нет. Тут только мы увидели обрывок уздечки на столбе. Порвал, стало быть, её и выбежал в незапертые ворота. Что делать? Без жеребца дороги домой нет. Даже представить себе трудно, что ждёт конокрадов дома. Обежали все улицы Иштерякова несколько раз, но Глупого и след простыл. Мы с Алмазом натянули шапки по самые глаза и через зимнюю ночь побрели в Нижнекамск, находившийся от злополучной деревни в двенадцати километрах. Когда дошли до здания тюрьмы около леса, Алмаз спросил: «А конокрадам сколько лет дают?» Я не ответил, лишь шаг прибавил.

Миновав родную деревню, куда заходить побоялись, мы избежали упреков родителей, разносов и т. д. и т. п. и благополучно скрылись в стенах интерната и школы. Через неделю за нами в интернат приехал Наиль-абый. Что было дома, пересказывать не стану. А с Глупым ничего не случилось. Хоть в Иштерякове волей судьбы он побывал впервые, но вернулся в Ташлык благополучно, не заплутал. Сани из гостей Наиль-абый с помощью конюха Газиза вернул на следующий же день после пропажи. Он догадывался, куда мы бегали по воскресеньям и где мы могли пропадать с Глупым в последний выходной.

После этого события я зауважал Глупого. По простетвию лет я понял, насколько Глупый был умён и насколько глупыми оказались мы с Алмазом вместе.

Бесценный баян

Каждый год на Сабантуй мы с Алмазом стараемся вернуться в нашу родную деревню. Это даёт возможность нам встретиться с друзьями-сверстниками, с которыми не виделись целый год. Празднуем с размахом – от двора к двору, от дома к дому. На Сабантуе (раньше мы называли его «Сход») Алмаз особенно долгожданен, ведь он певец, баянист, незаурядный рассказчик и шутник, без него трудно себе представить любой праздник.

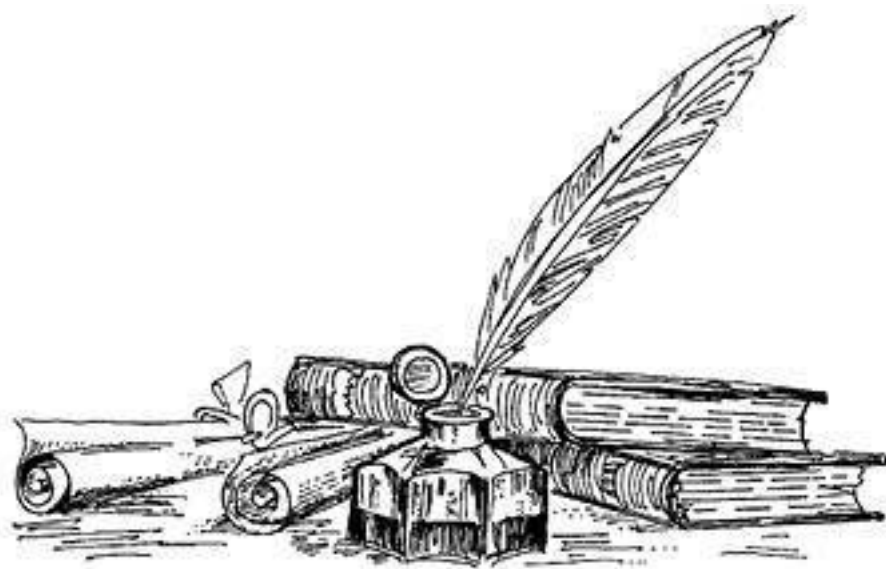
К одному из приездов Алмаза Наиль-абый купил ему первоклассный баян. Инструмент изготовлен был в Германии и обошёлся покупателю в кругленькую сумму. Наиль-абый, когда вручал баян сыну, шепнул ему на ухо: «На этом баяне будешь играть только дома или в клубе. А для Сабантуев и улицы и старый твой сойдёт. Эта немчина и капли дождя боится, попадёт дождинка на меха – пиши пропало».

Но всё же Наиль-абый не воспротивился тому, чтобы сынок его сыграл на новом баяне на лавочке у ворот. Утром, в день Сабантуя, к Алмазу, играющему на новом баяне у своих ворот, подкатили на машине мы – наш общий друг Рифкат, мой младший брат Рамзиль и я. Заслышав наши голоса, вышел на улицу и Наиль-абый. Мы наперебой хвалили новый баян, и сердце родителя размякло. И когда Рифкат сказал: «Зачем нужен этот баян, если он не будет играть на Сабантуе?», отцу Алмаза ничего не оставалось делать, как согласиться... Мы четвером сели в машину и под чарующие звуки нового баяна покатали на майдан Сабантуя.

Алмаз на майдане был, как всегда, в центре всеобщего внимания. С новеньким немецким баяном на груди он был особенно вдохновенен – и пел, и играл, как никогда. Промочив горло и закусив в палатке, организованной в тенёчке руководством деревни, он вновь взялся за баян и играл уже по приглашению друзей, накрывших «столы» на изумрудной травке то там, то сям, в тенистых местах под деревьями. Все хвалили новенький баян и великолепную игру баяниста. Души наши развернулись, как меха баяна, кровь взыграла, мы почувствовали себя молодыми, непобедимыми львами на вольном просторе.

Вспоминая мальчишечьи года и распевая весёлые песни, мы поравнялись с нашим домом, и мой младший брат, не взирая на сопротивление, затащил Алмаза к нам в гости. Сначала он играл на баяне, нахваливая бэлиши, которые испекла наша мать, потом праздник незаметно переместился в предбанник, а затем, когда я снял с чердака дубовый веник и плеснул на раскалённую каменку воды, – и в саму баню. Теперь уже Алмаз играл на полке бани, превратив её в сцену. Позабыв всё на свете, мы пели и пели. А гармонь, верней, баян тем временем, не выдержав жары, на глазах расклеивался, разваливался, издавая предсмертные вздохи.

Не знаю, что потом пришлось выслушать Алмазу от своего отца, но баян этот мы видели в своей жизни в первый и в последний раз. Может быть, Наиль-абый отремонтировал его и продал, может, просто обменял на что-то – история об этом умалчивает. Хотя мы его больше не видели, но он засел в наших сердцах накрепко, остался в нашей памяти как немецкий баян, банный и бесценный.



Майя Валеева

Ученик

Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдёт в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.

Откровение Иоанна Богослова, 17:8

Логанвилл, расположившийся среди висконсинских полей и холмов, трудно было назвать даже городком. Восемьсот жителей – это разве город? Одна главная улица, три церкви, здание почты, маленький супермаркет, где, однако, можно купить и еду, и корм для скота, и автомобильную покрывку. Ближайший полицейский участок – только в соседнем Рицбурге. Да и зачем нужна полиция в этом сонном царстве среди кукурузных полей и молочных ферм? Здесь каждый знает каждого. За милую местный житель распознает незнакомый автомобиль чужака, случайно заблудившегося на запутанной развилке дорог. По вечерам в домах, двери которых никто не запирает, уютно светятся окна, мерцают экраны телевизоров. Там, на экранах, бурлит беспокойная и красочная жизнь больших городов, там угоняют самолёты, там рушатся башни Всемирного Торгового Центра, там бушуют тропические ураганы и цунами, там льётся кровь на нескончаемых войнах; политики, брызжа слюной, пекутся о счастье своих избирателей, Дэвид Леттерман веселит публику, а синоптики рассказывают о погоде. Но это всё там, на экране. А здесь, в Логанвилле, всегда пахнет коровами и подгнившим силосом, цветут весной яблони, летом сияют на солнце плотные, изумрудные листья кукурузы, осень окрашивает окрестные холмы в золото и пурпур, летят над городком гусиные стаи. «Уик-уик, уик-уик, уик-уик!» – печально и трепетно кричат гуси и будто зовут, зовут за собой в ту бесконечную непостижимую даль... Но только почти никто из логанвилльцев не бывал в своей жизни дальше Чикаго. Зачем? Никого не манит чужая сторона. Уютно, тихо, однообразно теплится в Логанвилле жизнь...

Здесь рождаются, растут, учатся в маленькой школе, венчаются в местной церкви, работают на соседних полях, охотятся на окрестных холмах, выходят на пенсию и умирают в доме престарелых со странным названием «Четыре крыла». Почему четыре? Если бы дом престарелых назывался «Два крыла», то, по крайней мере, можно было бы предположить, что на двух крыльях уносятся в рай души умерших логанвилльцев.

Никогда не думал Пол Андерсон, что судьба, поймав его в силки, затащит в Логанвилл. Пол, горожанин в четвёртом поколении, родился в Нью-Йорке, учился в Вашингтоне, жил в Кливленде, где преподавал в колледже высшую математику. Жена, Алисия, была рентгенологом в центральном госпитале. Сын Эрик заканчивал школу и готовился поступать в университет. Их большой дом в пригороде Кливленда был полон уюта, тепла и любви, пока не случилось страшное. Эрик сдал на водительские права и впервые сам сел за руль. Совсем недалеко от их дома, на Розмари-Драйв, в него на полной скорости врезался гружёный трак, ударил машину Эрика и отбросил её на бетонное ограждение. Эрик погиб на месте.

Три года прошло с того дня, но всё кажется, что это случилось только что... Вот счастливый и гордый Эрик подходит к недавно купленной ко дню его рождения «тойоте», машет прощально рукой, победно клаксонит, выруливает на улицу и уезжает, чтобы никогда уже не вернуться... Эрик, Эрик, их единственный сын, светловолосый, загорелый, с нежным румян-

цем и доброй улыбкой... Алисия пыталась покончить с собой. Пол тоже по-своему умирал, умирал каждую минуту – от тоски по сыну, от боли и жалости к обезумевшей жене. Разум его отказывался принять эту чудовищную несправедливость. Ну почему Эрик?! За что Бог отнял у Эрика жизнь? И существует ли тогда Бог, если он мог допустить такое?! Почему наказан он, Пол, и за что страдает Алисия?! И как, и зачем им жить, если у них отняли самое дорогое...

Пол понимал, что больше не сможет жить в этом доме, в этом городе, проезжать по Розмари-Драйв мимо этого страшного места. Спешно, панически, он разослал по Интернету десятки заявок на работу. И поехал в первое же место, откуда ему пришёл положительный ответ. Ему было безразлично, что из преподавателя колледжа он превращается в учителя математики, что наполовину теряет в зарплате. Безразлично, какой это будет штат и какой город. Лишь бы бежать, бежать навсегда с Розмари-Драйв!

Они продали свой прекрасный дом и купили старый фермерский домик на окраине Логанвилла. Теперь их окружал не привилегированный район, а кукурузные поля и разбросанные по ним фермы.

Так в логанвилльской школе появился новый учитель математики. Старшеклассницы тут же повлюблились в высокого и симпатичного мистера Андерсона. Им казалось, что он явился к ним из того далёкого сказочного мира больших городов. Он одевался так же, как герои фильмов. А то, что у него погиб единственный сын, оведало его романтическим ореолом.

Алисия тоже могла бы найти себе работу в ближайшем госпитале, но она всё ещё так и не пришла в себя, не переварила это тяжкое горе. Она сидела на сильнейших антидепрессантах. Бродила по дому с пустыми глазами и что-то напевала. Она растолстела и перестала следить за собой. Ночью, во сне, плакала, звала Эрика. У неё было только одно желание – забеременеть. Но она не помнила, что ещё много лет назад, после рождения Эрика, врачи вынесли ей неумолимый вердикт – у неё больше не может быть детей.

В школе, среди учеников, окаменевшее сердце Пола отмякало. Эти подростки, уже не дети, но ещё и не взрослые, были наивными, смешными, угловатыми. Словно стая молодых толстолапых и игривых щенков. Это были дети полей. Мало кого из них интересовала математика. Они разительно отличались от умненьких и целеустремлённых студентов кливлендского колледжа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.